

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 30

1987



Юрий ГРИБОВ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ВЕСНА В ЖИТНЕВЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 30

Юрий ГРИБОВ

ВЕСНА В ЖИТНЕВЕ

ОЧЕРКИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Юрий ГРИБОВ

Юрий Тарасович ГРИБОВ родился в 1925 году в селе Бугры Богородского (в настоящее время Дальне-Константиновского) района Горьковской области. В годы войны работал мотористом на волжских судах «Карелия» и «Якутия», затем добровольно ушел в армию, окончил Энгельское пулеметное училище. На 1-м Белорусском фронте командовал пулеметной ротой, участвовал в форсировании Одера и штурме Берлина. Имеет восемь правительственных наград.

Демобилизовался в 1956 году. Подполковник запаса. Работал в Костроме, в Пскове. В качестве специального корреспондента газет «Правда» и «Советская Россия» много ездил по стране.

В разные годы у него вышли сборники повестей, рассказов и очерков: «Сильнее смерти», «Пора зарниц и облаков», «Сороковой бор», «Тайна старой мельницы», «Рубиновые серьги», «Тихие острова», «Журавлиная стая», «Капель», «Теплые ключи», «Семь домов у Кунь-горы», «Смоленские дороги», «Поездка в Тобурданово», «Ветка ивы», «Высоковские старики», «Перелом лета», «Полковничья роцца», «Поклон хлебу», «Контеговские вечера», «Когда встает солнце» и другие.

В настоящий сборник включены очерки и новеллы, написанные за последнее время. Это в основном результат поездок по Российскому Нечерноземью.

Ю. Т. Грибов — секретарь правления Союза писателей СССР.

ПИЦУНДА, ДОРОГАЯ ЗЕМЛЯ

Полоска южной земли, длинная и не очень широкая, напоминающая наконечник стрелы, острием своим упирается в море. И не в какое-нибудь там обычное, промысловое, а в море Черное, ласковое и теплое, «самое синее в мире». Если идти или ехать из Гагр, то на всем пути слева будут тянуться зеленые предгорья. А за ними и горы хорошо видны. Они довольно высокие, таинственная белизна и чистота их вершин так и притягивают твой взор. Слева предгорья и горы, а по другую сторону извилистый берег, кипящий волной, бесконечная морская лазурь...

Это Пицунда, мыс или полуостров, знаменитое желанное место. Километров, пожалуй, с десяток в длину и раза в три меньше в ширину — вот и вся здешняя территория. Даже с пятого этажа нашего писательского дома просматривается почти вся Пицунда, ее центральный поселок: купол старинного храма, ведущая к нему кипарисовая аллея, крыши высотных здравниц, жилые кварталы...

Сейчас, в середине апреля, все благоухает на Пицунде. Вызывающе рдеет иудино дерево, алеют свежие розы, капельки ночной росы искрятся на цветочных лепестках. Пока идешь берегом к поселку, несколько раз остановишься, чтобы не торопясь оглядеться вокруг. И особенно там, где начинается сосновая роща. Тут воздух так густо настоян хвойными ароматами, запахом моря и разогретой гальки, что дальше уж и идти не хочется, сидел бы и сидел на этом берегу часами, подставляя солнышку лицо. Сосны в роще не простые, а реликтовые, древние, каких, говорят, уже нигде нет. Их и здесь остается все меньше и меньше. На каждой сосне железная бирочка с номером. Сердце сжимается от жалости, когда видишь вывороченные вековые пни с огромными засохшими корневищами...

Не первый раз я на Пицунде и в каждый свой приезд приглядываюсь к здешним местам еще и со стороны крестьянской: чем кормит эта земля, все ли она отдает, что может, и кто работает на ней?..

— Конечно, земля наша не только радует, но и кормит. Стараемся

к ней с умом подходить: очень уж она у нас дорогая. Не гектарами меряем ее, а метрами, сотками, куриными шагами...

Это говорит Энвер Эрастович Капба. Мы с ним познакомились еще в те годы, когда он был директором курортной Пицунды. А теперь Капба первый секретарь Гагринского горкома партии. Воз у него тяжелый. Если раньше он думал в основном о курорте и о той земле, что под клумбами, то сейчас надо заботиться и о здравницах, и о самом городе, и о Продовольственной программе. Район вроде большой, на десятки километров растянулся, а пашни здесь, включая и Пицунду, всего три тысячи гектаров. Но эти считанные-пересчитанные гектары работают неплохо. Гагринцы занимают в своей Абхазии ведущие места, получают знамена и грамоты. Здесь всюду что-то строят, хорошеют селения, целые семьи возвращаются из городов к родным очагам. Сейчас и к дальним фермам можно подъехать в любую погоду. Пробили дороги и в горах, берут там сено с альпийских лугов, раньше для машин недоступных. Старается горком партии, настраивает коммунистов и все население на то, чтобы самим, на месте, разного продукта производить побольше и качеством получше. Резервы есть. В каждом хозяйстве, на всех участках...

— Далеко не все исчерпано и на моей любимой Пицунде,— продолжает свой рассказ Энвер Эрастович.— Там у нас два колхоза, два совхоза, птицефабрика, рыбный промысел. Вернее, один уже совхоз, молочное хозяйство с морского берега переносим в другое место. И птицефабрику тоже. Пицунда со временем будет сплошным садом и огородом. Оставляем в основном только то, что цветет и зеленеет. Вот цитрусовый совхоз. В какой-то мере его и можно будет взять за образец...

* *
*

Село Алахадзы стоит почти в начале Пицунды. По-абхазски «алахадзы» звучит, как вода или родник у инжира. Тут и в самом деле хлещет воды, инжира и другой зелени. Дома и многочисленные застекленные веранды еле видны сквозь густые заросли. В Алахадзы два хозяйства: колхоз имени Орджоникидзе и цитрусовый совхоз. В этом селе, помню, было немало долгожителей. Лет тридцать назад отдыхал я в санатории в Гаграх, и нас возили сюда на встречу с этими почетными старцами.

— Только после ста лет, генацвале, у нас начинают немножко хвалиться возрастом,— говорит мне, показывая село, Мурман Чхетау, председатель здешнего сельсовета.— До ста лет надо работать! И наши ветераны работают. В Алахадзы тысяча дворов и почти в каждом дворе корова, не считая другой живности. А кто это все, думаете, содержит?

Старики! У нас лугов нет, пастбища с ладонь, каждую травинку для коровы руками срывают. А личные сады-огороды? Мы все планы перевыполняем по заготовкам. И всё они, старики, делают. Сейчас вы встретитесь с директором совхоза товарищем Кирия, вот и определите, сколько ему лет...

Иду пешком, чтобы разглядеть всё получше. Совхозные постройки поближе к морю, за тенистыми кипарисовыми аллеями. Сплошной парк, а не усадьба, хоть ау кричи, отыскивая контору. Геннадий Петрович Кирия был на месте. Ну, что тут определить, лет за шестьдесят ему с небольшим, ребенку видно. По возрасту полноват, но легок в движении, на живом выразительном лице щеточка белых усов. Кирия дал мне альбом, похожий на амбарную книгу, и сказал, посерьезнев:

— Тут история. Как мы начинали и кто начинал. Пока не прочитаете, беседы не будет. Надо все помнить и перед лучшими людьми шапку снимать. Цветы надо класть на могилы ушедших...

Альбом увлек меня. Этот совхоз создан на сороковой день после победы Советской власти в Абхазии. Бедность тут была ужасающая. Косила людей малярия: ведь кругом стояли сплошные душливые болота. Всюду непролазная грязь, нет ни света, ни нормальной питьевой воды. Надо было наладить орошение, построить хотя бы временное дополнительное жильё, определить направление хозяйства. После купца Игунова, который владел этими землями, осталось немного в целости. Все тут перепробовали: и животноводство, и выращивание зерновых. Но дело шло плохо, совхоз не сводил концы с концами, не везло на руководителей. И только с приходом Александра Павловича Цомае хозяйство оживилось. Это был выдающийся директор! Интеллигент из крестьян, умница, боевой организатор, он сумел объединить людей, вдохнуть в них большевистскую веру. Здесь стали культивировать цитрусы, тунг, казанлыкскую розу, хинное дерево, а основной упор сделали на герань. Герань — растение ценнейшее, но капризное, и было много неудач, провалов, но Цомае не сдавался. За девять лет он ни дня не отдыхал, спал по три-четыре часа, скромность и врожденная честность были образом его жизни. И люди добились своего: совхоз на Пицунде перекрыл мировые рекорды по производству гераниевого масла. Мировые! Об этом все газеты писали. И поздравляли Александра Цомае с орденом Ленина...

Вот он смотрит на нас с фотографии той поры: открытое, почти юношеское лицо, волнистые волосы, расстегнута на три пуговицы простенькая рубашка. И застыл в его выразительных глазах какой-то вопрос, мольба какая-то...

— Я знаю, что он хотел сказать, — пояснил мне Кирия. — Я был знаком с Александром. Он всегда говорил, что надо держать марку Пицунды, укреплять Советскую власть, не щадя своей жизни...

Здесь ветераны, такие, как Самсон Николаевич Агарба, рассказывали мне, что Кирия во многом похож на Александра Цома: такой же неутомимый в делах, справедлив и партиен. Кирия — Герой Социалистического Труда. Совхоз сейчас числится образцовым. Земель здесь всего триста пятнадцать гектаров, а доходы большие, высокая рентабельность. В усадьбе все современное, городское. Есть даже свой совхозный санаторий. Он стоит на самом берегу, и название у него типично южное — Мзиури, что значит солнечный...

Кирия принял совхоз вскоре после войны. Снял солдатские погоны и приехал сюда еще в гимнастерке. Главной культурой оставил цитрусовые. Сейчас на этих землях, помимо мандаринов, апельсинов и лимонов, выращивают фейхоа, лавр благородный, виноград, хурму, инжир, орех, овощи, держат пасеку и небольшую ферму дойных коров: молоко для санатория и детского сада необходимо, для рабочих поселка.

Совхоз многонационален. Живут здесь очень дружно, хорошо, единой семьей. Кирия называет мне передовиков, а я по фамилиям определяю национальность: Джанашия, Кучеренко, Вартанян, Третьякова...

Мы ходим с Геннадием Петровичем по участкам, где идет посадка и вносятся удобрения. Кирия по-молодому перепрыгивает через канавы, и я еле успеваю за ним. Ему, оказывается, «всего под восемьдесят». Вот тебе и за шестьдесят, по моим меркам. Он был еще энергичнее, но беда его сильно ударила: не так давно жену схоронил, Нуцу свою дорогу. И живет сейчас один, с утра до ночи в заботах о совхозных делах, о людях, о земле, о планах на будущее...

— Четыре раза у нас здесь все вымерзло, — говорит Кирия, вздыхая. — Подчистую вымерзло! Был сад, и нет сада! Зона тут все-таки рискованная для цитруса. Народ плакал, видя мертвые деревья. Я сам, понимаешь, чуть в больницу не слег...

После каждой трагедии приходилось почти все возрождать заново. Жизнь заставляла искать какие-то выходы, чтобы не было повального урона хозяйству. Кирия изучал опыт субтропиков, много ездил, пробовал, искал то единственное, что подходило бы для Пицунды. Ввели шпалерный способ закладки лавра. Между рядками мандариновых деревьев теперь высокая стена лавра. Он предохраняет от холодных ветров, создает на плантации микроклимат. И тут же еще клевер сеют, люцерну, травы-медоносы: другой земли нет для этого...

— Вот оно, наше южное поле! — показывает Кирия. — Мандарины поспевают как раз к Седьмому ноября, к празднику. Тут все золотится тогда и благоухает. Каждый плод вручную надо срезать, а на дереве до четырехсот плодов...

Мандарины вот-вот покроются белыми шапками, а лавр уже зацветает, желтоватая дымка струится над стройными кронами. Рядом план-

тации, где растут яблоки и фейхоа, бамбук. Главный агроном Вячеслав Джакония и бригадир Зинаида Коваленко яблоками недовольны: жесткие, сухие, надо зимние сорта вводить. Увидя директора, они подошли к нему с горшочком, где зеленел саженец, и о чем-то советовались, пожаловались на то, что опять кто-то пытался бамбук утащить...

— Ой какой жадный народ бывает! — всплеснул руками Кирия. — Сам в джинсах за двести рублей, кожаный пиджак дороже нашего мандаринового дерева, на пальце, понимаешь, рубин, «Жигули» остановит и лезет бамбук на удилице рубить! Что делать? Как воспитывать? Совесть как лечить?

Мы пообедали в совхозной столовой и поехали потом на самый дальний участок, где выращивают лимоны, используя газовый обогрев. Плантация здесь пока в четыре гектара, она опытная.

— Скоро пять с половиной будет, — говорит бригадир Сураб Иванидзе. — Из этих камней землю сделаем...

Тут и впрямь как бы заново «делают землю». Почва плохая, твердая, песок и галька. Участок перекапывают, выбрасывают все лишнее, вносят удобрения, сажают лимоны грузинского сорта Диоскурия. В теплую погоду жизнь на плантации идет своим чередом, но как только потемнеет небо, дохнет холодом от Новороссийска, тут же к трубам, протянутым у лимонных кустов, подсоединяют горелки, и жидкий газ, спрессованный в емкостях, бежит к растениям. Горелки так устроены, что пламени снаружи нет. Обогревают они надежно. Кирия гордится опытным участком. Он уже дважды окупил себя. Здешние плоды нравятся людям...

— Сураб! — кричит Кирия. — Дай, понимаешь, лимон человеку! Пусть попробует!

Сураб Иванидзе сорвал с ветки два лимона и протянул мне. Они были не очень крупные, но даже из кармана плаща, куда я их положил, струился свежайший нежный аромат...

* *
*

В Алахадзы мне пришлось задержаться. Захотелось посмотреть колхозные поля. Здесь citrusовых почти нет совсем, только в личных садах. Земли четыреста двадцать гектаров, и находятся они в стороне от зоны отдыха. Сеют кукурузу, сою и травы, снабжают кормами ближний районный молочный комплекс. Но кассу пополняют не за счет трав, деньги дает табак. Большие деньги!

— Отраву выращиваете? — шучу я. — У вас же на курорте лозунг брошен: не курить!

— Ай, дорогой мой! — играет бедовыми глазами Сурен Акопович Устьян, колхозный председатель. — Что лозунг? Лозунги мы умеем бросать. Я хоть завтра, как товарищ Кирия, вместо табака буду фейхоа разводить, инжир посажу. Сверху, понимаешь, мне строгий план спускают: сей, Сурен, табак, иначе выговор с занесением!..

Он поднимает свой худой длинный палец и тычет им куда-то в потолок: оттуда, мол, план на стол падает. А потом заразительно смеется: бодрое у него настроение. А что, собственно? Дела идут. Кирия строит, и Устьян строит. Кирия — новые здания, а Сурен Устьян — дорогу. Асфальтированную дорогу через все село...

А «Киараз», второй пицундский колхоз, совсем крохотный: и двухсот гектаров земли у него нет. Здесь растет виноград «цоликаури» и «изабелла», апельсины, фейхоа, есть пасека...

— Трудно мне, — жалуется Фазлибей Дзкуя, председатель артели, коренной абхазец. — Ой, трудно! В Лидзаве население под три тысячи, а в колхозе работает человек сто пятьдесят. Съедают нас здравницы, людей сманивают...

Жалобой встретил меня и Гурам Кублашвили, бригадир с озера Инкит. Озеро это редкое. Уровень его на один метр ниже уровня моря, которое совсем близко, считай, через дорогу. И морская вода проникает сквозь грунт. Озеро регулярно откачивают. Здесь сейчас разводят кефаль, карпа, сазана, лобана. Бригаде к осени надо выловить двадцать тонн. И это нелегко. На Пицунде не одна бригада, и в других местах ловят. Свежая рыбка, кто от нее откажется на курорте. А жаловался Гурам на браконьеров...

— Разбойники! — грозил он кулаком. — На Инкит раньше и гусь и лебедь садились, душу радовали! А сейчас близко летают, курлыгут жалобно, а не садятся. Обидели птицу!

* *
*

Перед отъездом домой я еще раз прошелся по морскому берегу. После вчерашнего тумана и мелкого дождичка солнце казалось ярче обычного. Птицы радостно заливались в зарослях. Светло было и у меня на душе. И от неба голубого, от легкого шелеста волны, от бодрящих запахов. И еще оттого, что здесь, на Пицунде, я обрел новых друзей, жителей сельских...

У сосновой рощи гуляли отдыхающие. А некоторые возвращались с колхозного рынка, из магазинов, где продают горячий лаваш, пахучую траву, лук и редиску, абхазские деревенские сыры, мандарины и янтарный мед. Правда, не все пока дешево стоит. Но что ж, когда-нибудь

подешевеет и южный рынок. Подешевеет и будет богаче выбором. К этому идет дело. Земля пицундская щедра на дары, а народ ее работащ и добр.

ВЕСНА В ЖИТНЕВЕ

Солнышко ласковое, апрельское, теплым ярким светом заливает оно просторный кабинет. Устроившись в уголке на диване, я перелистываю свежие районные сводки и наблюдаю потихоньку, как Сергей Иванович Жиленко занимается своими председательскими делами. Сейчас он подпишет срочные бумаги, примет специалистов, отдаст необходимые распоряжения, и мы пройдемся по Житневу, по центральному колхозному селу...

Даже сидя за столом, Жиленко выглядит крупным, высоким. Он весь, что называется, седой, со лба лыс, а брови у него неожиданно резко черные, подвижные. По этим его бровям и по массивной налитой фигуре я издали, с самых дальних рядов, легко узнаю его в разных президиумах. И люблю его слушать, люблю бывать в колхозе «Заветы Ильича», которым Жиленко руководит. Он опытен, умен, по-партийному честен и смел. Пообщаешься с ним денек, и те сельские проблемы, которые казались весьма сложными, как бы приближаются к тебе, становятся яснее и конкретнее...

Сегодня суббота, и день у Сергея Ивановича по личным вопросам вообще-то неприемный, но люди идут и идут: хозяйство большое, несколько деревень, да и трудно иной раз разобраться, где личное и что общественное.

Зашли попрощаться гости из Брянской области. За опытом приезжали. Директор совхоза и главный зоотехник. Очень довольны. Есть чему подучиться в Житневе. Здешний колхоз сейчас в основном животноводческий, племенной, в нем за восемь тысяч одних только нетелей, овец романовских две тысячи, коровы, свиньи. А пахотной земли в обрез, маловато ее, но поля эти так хорошо обихаживаются, что ежегодно, в любую погоду дают за сорок центнеров зерна с гектара, много картофеля и трав. Все огромное стадо колхоз кормит почти сам. Молока надаивает под шесть тысяч килограммов от коровы, чистая прибыль за миллион рублей переваливает. В общем, какую цифру ни возьми, играет она и радует...

— А у вас в брянских краях какие новшества появились? — интересуется Жиленко и, слушая, белой головой кивает, в блокноте быстро пометки делает. Хороший опыт — дело важное, и Сергей Иванович ча-

стеню сам за ним ездит, многочисленные делегации принимает и у себя в Житневе, в том числе и иностранные...

Зашла секретарша, принесла охапку конвертов, штук триста, не меньше. Показали как-то Житнево по Центральному телевидению, и хлынул поток писем с просьбами, в основном от сельской молодежи: возьмите в свой колхоз, согласны на любую работу...

— С одной стороны, радостно это, а с другой, понимаешь ли, не очень,— морщится Жиленко.

— А чего плохого-то, Сергей Иванович? Рыба ищет, где глубже...

— Вот, вот! Рыба, а не человек! Обывательская присказка! Сам глупину рой, а не ищи готовую. Как не стыдно тем руководителям, от которых молодежь убежать норовит! И ведь не в город, а на село! Все, что мы имеем, в любом хозяйстве сделать можно. Головой-то надо пошевелить! Да и руками-ногами тоже!

Разбушевался Жиленко не на шутку. Костерил отстающие колхозы, лентяев, попрошайек председателей, которые на «Волгах», разодетые с иголки, ездят кланчить во все учреждения: подайте, мы бедные, нерентабельные, все в долгах...

Поуспокоился Сергей Иванович только на улице. Теплынь стояла летняя. От нагретого черного асфальта струилось марево. Кажется, уже скворцы прилетели. Кое-где выставляли зимние рамы, мыли окна: Первой же на пороге, праздник всенародный...

— Во вторник думаем выборочно боронование начать,— щурясь от солнца, говорит Жиленко.— Поля быстро подсыхают. В Скрипине вчера был: хоть сейчас сей. Но повременим. Там у нас новый сорт яровых пойдет, пусть земелька еще понежится на сугреве...

— Сергей Иванович, а Житнево, название это, откуда пошло?

— От хлеба пошло, от жита, так старики говорят. Нам вообще повезло с названиями. Село, видишь, Житнево, а колхоз «Память Ильича». Недалеко от нас Горки-то Ленинские, вон они, за теми увалами...

* *
*

Многого я уже не узнаю в Житневе. Препными только окраины остались, а центр весь новый, современный, застроенный красивыми коттеджами. Их здесь целые улицы, таких нарядных домиков, с островерхими черепичными крышами, с верандами, с гаражами внизу.

— Может, заглянем в один из домиков?— предлагает Жиленко, и мы, нажав на звонок, оказываемся в просторной прихожей. Ничего себе квартирка, в два уровня: наверх ведет лестница, все удобства. И мебель самая модная, цветной телевизор. Хозяйка, предлагая нам чаю, го-

ворит, что кое у кого были конфликты при переезде: старухи пытались кованые сундуки в такой дом затащить. А сундуки и табуретки, конечно, здесь не смотрятся. Я вспомнил, как до войны в нашей деревне в избах зимой телят держали, а вся мебель состояла из двух скамеек. Хозяйка заулыбалась, сказала, что и она такое видывала и не до войны, а лет еще тридцать назад...

Сводил меня Жиленко и к новому торговому центру, который вот-вот откроется. Здесь будут современные магазины, семейный клуб, где люди могут свадьбы справлять, дни рождения, отмечать различные праздники. Посмотрели мы прекрасный Дом культуры, детский сад, столовую, санаторий. В колхозе собственный санаторий профилактики, с водолечением, с электропроцедурами, с зубным кабинетом — нечасто пока в Нечерноземье такое встретишь...

— Мы все сами строим, только своими силами, — гордо говорит Жиленко. — Создали крепкую бригаду, ребята подучились и сами стали мастерами. У нас теперь даже свой архитектор есть, вынуждены были ввести в штат такую единицу. Строить по науке надо, чтобы внутри красиво было, удобно, а снаружи глазу отдохновение. Пошли теперь в кормоцех заглянем. Это главное наше производство...

— Там кто, Жужин командует? До сих пор?

— Он самый, Алексей Семенович Жужин. Семьдесят недавно стукнуло гвардейцу, а он работает. Да еще как! Не сдаются фронтовики-ветераны!

В Житневе все знают, что Сергей Иванович дружит с Жужиным. У них немало общего в биографиях: оба с сорокового года в партии, по два раза тяжело ранены на войне, только Жужин танкистом был, а Жиленко черноморским моряком...

— Ну, что, Семенych? — здороваешься Жиленко с Жужиным, входя в его каптерку. — Все из соломы шоколад делаешь? Сбоев нет?

— Нешто позволю я сбой, Сергей Иваныч? Девяносто тонн в день вынь да положь. Корм отличный, ни одна коровка с жалобой ко мне не приходила...

— Ой, юморист, Штепсель и Тарапунька! Крути машину, Семенych, надою нам надо вверх и вверх тянуть. Пойдем-ка завод твой посмотрим! Веди давай, показывай!..

* *
*

Недавно в колхозе проходило отчетно-выборное собрание. Накануне вечером Сергей Иванович долго доклад правил, критики в него добавлял и встал раньше обычного, до рассвета, костюм надел новый,

а галстук, тоже новый, никак завязать не мог. Пришлось Валентине Алексеевне помогать мужу. Она понимала его состояние: всегда он волнуется перед собраниями. А сегодня двадцать третий раз его в Житневе избирать будут. Двадцать три года! Как быстро они пролетели...

Жиленко свою Валентину нашел на Черном море, где воевал. Она тоже флотский мундир носила, была связисткой. Волжанка, из Рыбинска, она зазвала его как-то к родным в Подмоскovie отпуск провести, и «погорел» бывший главстаршина, красоты здешние увидев, велел якорь тут сбрасывать. Зоотехник по образованию, Жиленко поработал какое-то время в Подольском районе, а потом вот сюда. В Житневе двух сыновей вырастил, два ордена Ленина получил, поседел, стал дедом...

— Рано, еще посиди,— говорит Валентина Алексеевна.

— Нет, пойду. Надо на фермы заехать, на машинный двор...— И вышел на улицу, где было еще темно и тихо.

А в назначенный час Жиленко уже был в ДOME культуры. Зал там гудел, как улей. В фойе играла музыка. Все были по-праздничному одеты, при орденах и медалях. И так много молодых лиц! Ведь средний возраст в колхозе под тридцать пять лет. Все заместители Сергея Ивановича, агрономы, инженеры, зоотехники, экономисты, строители — молодежь. Только с высшим образованием работает в колхозе около пятидесяти человек. Вот они, улыбающиеся, обступили своего председателя: Евдокимов Юрий Степанович, Николай Митюгов, Алла Никитична Хмель. И Бабанов тут, секретарь парткома. Александру Бабанову чуть за тридцать, а он уже четыре года как освобожденный секретарь парткома. Почти сто сорок коммунистов в колхозе да комсомольцев за сотню. Участок трудный, не каждый такой воз потянет, но Сергей Иванович первым поддержал Бабанова при выдвижении: свой он, житневский, перед родителями его, шофером и дояркой, издавека шапки снимают. Коммунисты и комсомольцы в колхозе — основной отряд. Все лучшее от них исходит: дисциплина, азарт, дружелюбие. Жиленко всегда опирался на партийную организацию. Он и сам передовой коммунист, ветеран. Разве можно было бы без партийной силы колхоз дважды в передовые выводить? В то время, когда он обыкновенным был, с разными направлениями, и сейчас, с откормочной племенной специализацией? Нет, конечно...

— Пора начинать, товарищи! — сказал Бабанов. — Сергей Иванович, время!

И все расселись по местам.

Положив перед собой папку с отчетным докладом, Жиленко смотрел в зал. Смотрел и успокаивался. А тут еще Жужин с третьего ряда подмигивал дружески: не робей, мол, председатель, и не такое видели...

Тогда, двадцать три года назад, многое не понравилось здесь Сергею Ивановичу. Покосившаяся деревенька Житнево утопала в грязи, колхоз был развален, и бывший председатель его давал показания следователю. Бухгалтер сидел за пустым столом, размачивая в кружке сухари: собирался закусывать...

— Ну, что там у нас на балансе? — с улыбкой спросил Сергей Иванович.

— А вы веселый, товарищ Жиленко, как я погляжу, — вздохнул бухгалтер.

— Так а чего унывать-то?

— Тут не унывать надо, а бежать! Поскорее и без оглядки!

— Ну это, дорогой, не по мне. Я уж где позицию занял — держусь!

— Поглядим, сколько продержишься, а пока вот он, наш баланс: зарплата за семь месяцев колхознику не плачена, долгу десять миллионов, зерновых собрали по семь центнеров, надои и настриги и того меньше. Пропивать, в общем, уже нечего...

Дня четыре ходил Жиленко по полям и деревням. Образцово, Филатово, Пушкино, Михеево, Скрыпино, Лямцино, Буняково — все эти селения выглядели еще беднее Житнева. Со многими колхозниками с глазу на глаз побеседовал тогда Сергей Иванович и особенно с коммунистами, которых было всего двенадцать человек. Потом все члены партии собрались в ветхом конторском домишке, и Жиленко пристыдил их:

— Что же это вы, братцы, крылья-то сложили, а?

— А оно, вишь, какое дело-то, — сказал Алексей Семенович Жужин. — Кукурузная да клеверная эпопея крепко нас ушибла, оклематься не можем. Ну, а если по правде, то и сами виноваты. Без руля шли, куда ветер дунет. А земля у нас ничего, хозяйствовать на ней можно...

Сергей Иванович и сам видел, что начинать надо с земли. Он знал, что доходы и крестьянскую радость, душевный подъем приносят высокие урожаи. Будут к осени зерно и корма — все гайки сразу по-другому закрутятся. И он все машины и подводы бросил на вывозку навоза. У себя все погреб и у соседей запрашивал. У заброшенных ферм целые горы скопилось этого лучшего удобрения...

И к осени, при первой же уборке, старания житневцев и в самом деле обернулись золотом: зерна собрали в два раза больше, стогов с сеном наставили. И все стало оживать в колхозе: молоко пошло, мясо, топоры застучали, деньги появились в кассе. Может, этот трудный хлеб сказался или старания Сергея Ивановича, но только народ стал вокруг него дружнее собираться: видели люди, что Жиленко вожак, человек крепкой породы, строг и честен, все здоровье свое колхозу отдает. Ну как за таким не пойдешь! Да и умел Сергей Иванович любого захватить,

чем-то увлечь, не отстанет от человека, пока не поймет его глубже. Было у него основное железное правило: работаешь хорошо — получи больше, честь тебе и почет, а если отлыниваешь, тоже получи, но уже другое. И все это всенародно, гласно...

Жиленко еще по флотской службе знал: коллектив крепкий, дружный — дело пойдет, ничего не страшно. И воспитанию людей, спайке, чувству ответственности уделял много времени. Ох, и трудное это дело! И демагоги находились, анонимщики, крикуны: много берет на себя председатель, раньше не так было. И сверху, из района, ему иногда попадало, когда не от директивы шел, а от земли, от жизни. Горлом пытались его сломить, стуком кулака: партийный билет положишь, Жиленко! Но Сергей Иванович и сам не поддавался и земля его осенью вырачала, оправдывала...

Сейчас все это позади, но зарубки на сердце остались...

И когда Сергея Ивановича спрашивают, как он сумел добиться таких успехов и что в современном крестьянстве главное, он отвечает, подумав:

— Самым главным в крестьянстве всегда земля была. Она и теперь осталась главным козырем. Хорошая земля и образованный работник на ней — хлеб всегда будет. И мясо тоже будет...

Когда Жиленко волнуется, в его речи слышны украинские слова и букву «г» он произносит с придыханием, на южный манер. Украина — его родина. Он бывает там не часто, но бывает. И в Севастополь ездил, который он оставлял и освобождал. Ночью спать не мог в гостинице. Все ему слышалось, будто дрожит на тумбочке в изголовье чайная ложечка в стакане. Дрожит от рвущихся снарядов и бомб...

* *
*

На второй день, с самого утра, прикатил в Житнево Анатолий Адамович Баяк, первый секретарь Домодедовского горкома партии. По-молодому взбежал на третий этаж правления, поздоровался с Жиленко.

— Сергей Иванович, а у тебя, кажется, сеют уже? Гул я слышал за березовой рощицей.

— Мабуть и сеют, дуже гарна погода.

— Как это мабуть? А команда? Ты команду давал? И мы из горкома не звонили...

— А земля командует, товарищ секретарь. Звенья, конечный результат. Я тоже вчера хотел по привычке устную директиву пустить, так в горле, понимаешь, и чесалось. И без уполномоченного тоска какая-то,

места себе не нахожу. Может, пришлете расторопного малого с баском позычнее?

Они оба смеются от разыгранной сцены, потом Баяк серьезнеет лицом и переходит к делу. Нужно мясо. Свежее, хорошее мясо. Как можно больше. У горкома есть кое-какие соображения. А что думает товарищ Жиленко, член бюро горкома? Есть еще у него резервы?

— Резервы имеются,— озабоченно вздыхает Сергей Иванович.— Надо свиноферму строить, репродуктор. Это самое скорое мясо...

Он берет лист бумаги и что-то чертит на нем, быстро набрасывает колонки цифр. У Жиленко любовь к счету. Он сам постоянно считает и весь колхоз к этому приучил...

А вечером Сергей Иванович поехал вместе со мной в Москву. Ему надо было побывать в областных учреждениях. У поворота на Горки Ленинские он свернул к кювету. Мы вышли из машины, прошли немного. И вскоре прямо на нас глянул Владимир Ильич Ленин. Высеченный из камня, отсюда, издали, он казался словно живым. Он запечатлен был во весь рост, в движении. Ветер завернул полы его пальто...

— Я тут частенько останавливаюсь,— тихо сказал Сергей Иванович.— Люблю постоять тут и подумать...

Я вспомнил его слова про удачное название села Житнево и колхоза «Память Ильича». Непростые названия, гордиться ими надо. Гордиться и славу возвеличивать делами. И Жиленко делам колхозным отдает все силы свои. Такие, как он, падают только в атаке, в бою...

ТУРГАЙСКИЙ ХЛЕБ

Помню, как в детстве, в четвертом, кажется, классе, начали мы проходить географию. И был тогда учебник с яркой зеленой обложкой, в котором вся наша страна подавалась по зонам: зона тундры, зона тайги, зона степей. Мне почему-то очень нравилась зона степей. Может быть, этот раздел был сильнее написан или еще по какой-то причине, но только частенько снились мне необъятные просторы, сухой пыльный запах, бездонное голубое небо и парящий в нем коршун. Перевидал я потом на своем веку немало разных степей, в том числе и здесь, в Казахстане, полюбил их, но вот такую величественную и красивую степь, по которой мы сейчас едем, вижу, кажется, впервые...

— А такой, извините, больше и нет,— вслушиваясь в мои воспоминания, говорит Исламбек, наш водитель.— Это же степь Тургайская, она ровная, как стол, и ой какая широкая! У нас многие космонавты садятся. Вон холмик слева, видите? Где-то за ним тоже садились...

Мы смотрим во все глаза, но никакого холмика не видим. Над прокаленной землей струится текучее марево. Одинокий грач, нахохлившись и раскрыв клюв, жмется к тощим кустикам, растущим вдоль обочины. Жарко. К обеду обещают под сорок, как и вчера. И солнце-то маленькое, расплывчатое какое-то, но стоит только поднять голову, так и хлестнет оно по лицу горячим лучом...

Вся степь сейчас буроватого цвета. Вернее, это уже не степь, а гигантское хлебное поле, в основном пшеничное. Во все стороны, от горизонта и до горизонта, хлебные просторы. Ни деревца, ни строения какого. Только элеваторы белеют. Один элеватор проскочишь, глянь — второй уже маячит вдаль. Они здесь, как старые колокольни в центре России: над всей местностью царствуют. А оно и в самом деле так: элеватор на целине — храм, а хлеб — святыня. Вокруг хлеба все тут, собственно, и вертится: плакаты, призывы и просто разговоры людей, вся атмосфера. В Аркалыке, в гостинице, оформляя нас, группу писателей, кассирша говорила соседке:

— Внучка в гости в Чухлому зовет, да хлеб, поди, опять не пустит. Помогать придется... Уж после жатвы соберусь...

С хлеба начал разговор с нами и Эркин Нуржанович Ауельбеков, первый секретарь Тургайского обкома партии. С хлеба, с твердых сильных пшениц, которыми засеяны почти все здешние земли, с лучших людей, с первоцелинников, с молодежи. Эркин Нуржанович и сам хлебороб настоящий, агроном и экономист по образованию, Тимирязевку окончил, Золотую Звезду Героя Социалистического Труда получил за хлеб, за умелое партийное руководство. И родом он почти местный, коренной кокчетавский степняк, и аул его называется Акмола, что означает белая степь...

— Тургайскую область создали недавно, — рассказывал Эркин Нуржанович, — ей всего тринадцать лет...

И, слушая его, мы как бы воочию видели всю эту «степную державу», где летом зной, суховеи, а зимой свирепая стужа, метели, сбивающие с ног. Заброшеннее и безлюднее этих мест нигде не было. А сейчас тургайцы дают хлеба больше, чем весь Казахстан до подъема целины. А там, где хлеб, там и мясо, молоко, шерсть. Все это тоже во много раз выросло. Всюду тут веет новизной и размахом. Пересекли область асфальтированные дороги, выросли удобные поселки, да и сам Аркалык, столица Тургайская, за тринадцать лет почти в семь раз увеличил свое население, стал настоящим привлекательным городом. Земли здешние богаты не только сверху, отменными пшеницами, в глубине их лежат бокситы, бурые угли, и вовсю уже ведутся работы по добыче этого ценного добра. Просто не верится, что тридцать лет назад в тургайских степях на двести верст и живой души можно было не встретить. И совсем

уж не по себе делается при мысли, что вот так бы, как раньше было, все бы и осталось сейчас...

Я перебираю в памяти разговор с Эркином Нуржановичем, а машина наша катит себе и катит, минуя очередные элеваторы, скошенные травяные массивы, неглубокие лощинки, у которых почему-то есть названия, написанные на щитах: лог Тасты-Талды, лог Шолак-Талды. А едем мы сегодня на самый север области, за Есиль, в совхоз «Дальний»...

— Исламбек? — спрашиваю я водителя. — А почему «Дальний»?

— А дальше уж некуда, вот и дальний. Там, в Знаменке, на центральной усадьбе, Нестеренко похоронен, памятник ему стоит...

* *
*

Мы знали, что могила Даниила Потаповича Нестеренко находится в Знаменке. И об открытии музея первоцелинникам слышали. Потому и попросились сюда, к «воротам целины», к эпицентру ее: так всюду называют здесь эти места...

И сразу же, как только приехали в «Дальний», пошли к памятнику. Мраморная плита была усыпана цветами. И мы свои букетики положили. А потом молча рассматривали скромные личные вещи Нестеренко, выставленные в музее: лейтенантский его китель с Золотой Звездой Героя Советского Союза, пожелтевшую фотокарточку. Молодое худощавое лицо, озабоченное какое-то, жесткое, волевое, губы плотно сжаты. Видимо, на фронте снимался, перед самым, может, боем, перед атакой. Он и тут, на целине, за труд свой, возможно, получил бы геройскую Звезду, какую имел его отец. Но не успел. Утонул в ледяной реке вместе с трактором, на котором вез семена для первого целинного сева. И вот уж сколько раз я слышал об этом, читал в книгах, в журналах, но чувство такое, что узнаешь все впервые. Растет в горле горячий ком, копятся в глазах слезы. Я замечаю, что и у соседей моих, у директора совхоза Медведева и у Сарсекеева, секретаря парткома, такое же состояние. Великие подвиги за народное дело, они всегда свежи, всегда волнуют и будят совесть...

— Эх, глянул бы он сейчас, товарищ Нестеренко, на нашу Знаменку, — сказал Сарсекеев, когда мы вышли на улицу.

— А он ее представлял, это точно, — утверждает Медведев. — Старожилы знают. Вместе они у костров на берегу Ишима грелись. И батя мой помнил. И костры и первую палатку. И мечты ихние...

Владимир Алексеевич Медведев и Серик Касымович Сарсекеев совсем молодые. Я их называю по имени. Немножко, может, постарше они

тех ребят, которые здесь целину зачинали. Молодые, но уже опытные, дипломированные специалисты, вон какой совхознице на своих плечах держат. Под тридцать тысяч гектаров одним только хлебом засевают, в урожайные годы пшеницы по два миллиона пудов сдавали. И этой оsenью обещают «все планы закрыть»...

— Если бы не эта проклятая жарница, здорово бы сработали,— говорит Медведев.— И прошлогодний должок бы вернули и сверх задания засыпали. Но вон оно как палит...

— А ты не дрейфь раньше времени,— хмурится Сарсекеев,— панику не поднимай. Влагу мы хорошо задержали...

Медведев сверху вниз косится на своего «комиссара» и вяло машет рукой: чего, мол, ты понимаешь в агрономии. В нем есть что-то от его фамилии: высок, широкоплеч, весь налит неумейной силой. А Серик Сарсекеев прямая противоположность: быстр, горяч, улыбчив всегда, неунывающ. Медведев одно слово скажет, а Серик ответит пулеметной очередью. Они как бы дополняют друг друга, понимают и воз совхозный везут с одинаковой нагрузкой. Коммунистов в Знаменке около семидесяти человек, а комсомольцев побольше. Здесь вообще молодежи много. И Сарсекеев, недавний комсомольский работник, вожак их и заводила. Все у него как-то легко получается, весело. Он и речь с трибуны скажет, и песню в клубе сплет, сам себе аккомпанируя. Петь он может, кажется, на всех языках, какие в совхозе есть. А языков здесь под два десятка. И он, и Медведев людей увлечь и повести за собой могут. Ну, а когда «зароются» в чем-то по молодости, поправить есть кому. Из Есиля, из райкома партии, частенько товарищ Нургалиев приезжает, первый секретарь, председатель исполкома райсовета Чубчиков...

— А какие проблемы, братцы, вас больше всего волнуют, в три часа ночи будят? — спрашиваю я директора и «комиссара».

— В такую рань меня и атомная бомба не разбудит,— смеется Серик.— А в четыре я сам встаю...

— Да проблем хоть отбавляй,— говорит Медведев.— Одну проблему решим, две появятся. Строиться надо, реконструировать многое, а некому. Штатное расписание почти на сто человек не заполнено. Пенсионеры прибывают, а рабочие убывают. Шесть «Кировцев» не хватает. Да мало ли чего? А хлеб — дай! Молоко, мясо — дай! И давать надо! И будем давать!

Мы проехали несколько полей, где заканчивается подборка трав, побывали в местах закладки кормов, на машинном дворе, на фермах. К жатве все готово, хоть сейчас выезжай. И хлеб уже подходит. Мы сорвали несколько колосков на разных участках, шелушили их в ладонях, пробовали зерно на зуб...

— Это и есть сильная пшеница? — спросил я Медведева.

— Она самая, голубушка. Сильная и твердая. Лучшая из лучших. Применим при уборке сдвоенный валок, созданы у нас звенья...

— А если из одной такой пшеницы хлеб испечь, какой он будет?

— Во какой каравай поднимется! — распаивает руки Серик. — Нажмешь — и корка к корке прижмется. Отпустишь — отойдет медленно. Но из одной такой не пекут. Немножко нашей пшенички добавить, и то хлеб задышит...

* *

*

В совхозе «Дальний» три селения: Знаменка, Елтай и Никель. Все основные службы в Знаменке. Это обжитой приличный поселок в четырех дворах. Здесь и клуб, и школа, детский сад, медпункт и даже своя гостиница. Стены многих домов побелены, как хаты на Украине, позади дворов садоочки, палисадники перед окнами, высокие тенистые тополя, акации. Многие семьи держат коров, свиней, овец, разную птицу. Есть и лошадки. Это в основном у казахов. Я видел, как ребяташки обливали водой жеребенка. Наберут кружку из ведра и плеснут на него.

— Это чей жеребенок? — поинтересовался я. — Совхозный?

— Нет, это дедушки Жомара Рустамбекова жеребенок, — пояснили дети. — Он так любит купаться, так любит...

Две девочки, одна Айгуль, а вторая Оля, вызвались показать мне еще несколько жеребят. Босоногие, загорелые, бойкие, они все решительно знают в своем поселке: у кого какие цветы растут, вишни, малина, помидоры, какая рыба водится в Ишиме. От них я узнал, что хлеб по-казахски «нан», вода — «су», земля — «жер», молоко — «сут», а небо — «аспан». Мудрый язык, самые главные в жизни вещи, хлеб и вода, произносятся коротко, как вздох. Даже обессилев, одними губами, слово «су» успеешь сказать...

Оля понимает по-казахски так же хорошо, как Айгуль по-русски. Славные девчушки, второклассницы, они уже третье поколение целинников...

Успел я побывать в гостях и в двух семьях: у Беркимбаевых и Василец. Аглама Жолдаспаевича Беркимбаева, его жену Сагдат и Виктора Васильевича Василец со своей Аней я встретил возле музея. Мы разговорились, и они зазвали меня к себе в Елтай. Дома их рядом, впритык. И дружат они давно. Виктор и Аня первоцелинники, приехали из Харькова, с завода, по комсомольским путевкам. Виктор на трактор сел, Аня прицепщицей у него работала...

— Вот тогда он свою Анечку и прицепил к себе намертво, — смеется Аглама. — Парсень был хваткий!..

— Ой, да что вспоминать,— накрывая на стол, говорит Анна Исаевна.— Тридцать первый год здесь живем. И не заметили! Помню, как снегом умывались, а мороз с ветром... Вагончик у нас на юру стоял. И не холодно было...

А Беркимбаевы местные, елтайские. Аглам шофером работает, Сагдат телятницей. У них пятеро детей, три дочери и два сына: Алтын, Айнагуль, Жанбота, Акзам и Серик. Алтын уже студентка, Айнагуль в сельхозинститут поступает, Акзам механизатор, а младшие еще в школу ходят. У Беркимбаевых детей пятеро, а у Василец шестеро: четыре сына и две дочери. И внуков уже пять. Все ребята, казахи и русские, вместе выросли, считай, в одном дворе. Володя и Валерий Василец в армии сейчас служат, в письмах передают приветы Беркимбаевым. Светлана, Люба, Василий работают здесь же, на целине, а Толя еще маленький.

— Сыновей из армии домой ждем,— говорит Виктор Васильевич.— Здесь наша родина. Целина людей притягивает. Я не беру тех, кто сразу уехал, трудностей испугался. Таких и не задерживали...

Виктор Васильевич слесарь молочного блока на ферме, жена его была дояркой, орден заслужила, а сейчас в полеводстве работает. Орденов и наград разных в обеих семьях немало, Беркимбаевы и Василец как бы соревнуются во всем, помогают друг другу. В один год по «Москвичу» купили, в выходные дни вместе выезжают на рыбалку, уху варят, песни поют...

— Нам ничего не надо, все у нас есть,— поддерживает разговор Аглам Жолдаспаевич.— Чтобы тихо, мирно на земле было, вот чего нам надо. Чтобы войну только по телевизору показывали...

— А я и в телевизоре ее боюсь,— говорит Сагдат.— Для меня так пусть уж нигде ее не будет...

Ночевали мы в Знаменке. Было душно. Ночью в поселке шумели машины, яркий свет фар бил по окнам.

Я проснулся в шестом часу и вышел во двор гостиницы. На скамейке сидела женщина. К зданию конторы подкатил директорский «газик», и Медведев, заложив руки за спину, медленно пошел по улице.

— Два часика всего и соснул,— сказала женщина, провожая взглядом директора.

— А вы что, близко живете?

— Сын он мой... Трудно ему... С утра до ночи... А вот хлеб-то пойдет, совсем заматается...

Это была Вера Павловна, мать Медведева. Она здесь с «первого колышка», работает и сейчас. А муж ее был механизатором. Он сильно простудился, перегоняя из райцентра трактор. Отняли ему ноги. Но он и без ног работал по силе возможности. И умер, как солдат в бою...

Вот такой был человек отец директора. Первоцелинник, труженик. А Медведев ничего и не рассказал о нем. Он вообще о себе мало рассказывал...

* *
*

На второй день побывали мы в совхозе «Двуречный», еще раз пересекли почти всю Тургайскую область, останавливаясь в пути. Многие поселки похожи на Знаменку: те же побеленные домики, клубы, школы, сады, аллеи тополей и акаций. И люди в поселках как бы похожи. Похожи радушием, широтой души. Это целинники, особый народ. Нации здесь разные, а народ один. Целинный народ...

А вернувшись в Москву, я раза три звонил в Аркалык, в обком партии и всегда слышал ответ: Эркин Нуржанович в хозяйствах. И вот наконец слышу его голос:

— Жара у нас все стоит! Выборочно начали уборку! Тургайский хлеб пошел! Считать пока рано, но постарайтесь убрать все до зернышка. Все силы бросим! В наших местах медлить нельзя. В середине августа еще тепло, а к концу, глядишь, и снег повалит. Как Есильский район идет? Неплохо идет! Они жатву начали! И совхоз «Дальний» начал!..

Я давно уже положил трубку, а как бы еще слышал Эркина Нуржановича. И видел тургайские хлебные просторы, элеваторы на горизонте, поселок Знаменку, серьезный взгляд Нестеренко с фронтовой фотографии, Медведева и Сарсекеева, Айгуль и Олю, семью Беркимбаева и Василица... И будто бы запах степей чувствовал. Полынный сухой запах, который снился мне в детстве.

ОГОРОДНИКИ

На праздничном столе хватало разных блюд и закусок, но как только хозяйка поставила глубокие чашки с ломтями вилоквой капусты и с отварной крупной картошкой, от которой сразу же по всей комнате пошел неповторимый картофельный дух, гости, издавая радостные восклицания, поспешили положить себе того и другого побольше и ели с удовольствием, дружно нахваливали, особенно капусту, чуть желтоватую, плотную и сочную, вкусную даже на вид.

— И откуда такая прелесть? Кто готовил?

— Картошка у нас дракинская,— пояснила молодая хозяйка.

— Это что же, сорт новый?

— Нет, не сорт. Дракино — это село. Оно в Подмоскowie, на Оке, недалеко от Серпухова. Там совхоз «Большевик». И капуста из этого же совхоза. Бабушка вчера мне привезла. Она и квасила. У них там по капусте все мастера. И вырывать, и засаливать. Бабуля моя работала вместе с Дмитрием Ивановичем Ротастиковым. А уж Дмитрий-то Иваныч по овощам из мастеров мастер, Герой Социалистического Труда. Может, слышали о нем?

Как не слышать, конечно, слышали: Ротастиков — личность известная. Его еще в шутку называют знаменитым серпуховским огородником. А недавно, перед самым Новым годом, я встретался с Дмитрием Ивановичем. Проезжал по местам, где в сорок первом сражалась, отстаивая Серпухов, первая московская дивизия народного ополчения, и завернул к нему в совхоз «Большевик».

Дмитрий Иванович — управляющий центральным отделением. На месте, в своей конторке, его не оказалось: пленку, мол, для теплиц принимает и скоро будет. Я присел у подоконника и разговорился с рабочими, которые тоже поджидали Ротастикова. И весь район и совхоз «Большевик» год завершают неплохо. План по овощам перевыполнен. Одно только центральное отделение разного овоща сорок тысяч тонн отгрузило. Капуста семи сортов шла. Убирали день и ночь, в любую погоду...

— Ну, будет хвалиться-то,— входя в конторку, сказал Дмитрий Иванович.— Аж на улице ваши трели слышны...

Он в уголке отряхнул шапку от снега, тщательно причесал далеко уже не густые волосы и пригладил еще их ладонями. Житейской основательностью и спокойствием веяло от всей его крепкой налитой фигуры: вроде бы чуть-чуть полноват и в то же время ничего лишнего. И глаза зоркие, умные, с искоркой доброго юмора. А бровей совсем не видеть, выгорели они на солнце и на морозных ветрах. На темном пиджаке, над прорезью кармана, — орденские планки в четыре ряда. И награды все крупные, и, кажется, больше половины фронтовых.

— Как у генерала,— показываю я взглядом на его планки.

— Куда там... Всю войну сержантом прошел. В полковой разведке. Нас, разведчиков, баловали: «языка» важного притащишь — орден...

Ничего себе «баловство» — по вражеской передовой ползать. Но я не говорю об этом, потому что Дмитрий Иванович, не любящий, видеть, похвал в свой адрес, уже завздыхал смущенно, нетерпеливо закашлял в кулак. И я перевожу разговор на другое, рассказываю ему, как угощали нас серпуховской вилковой капустой и картошкой из села Дракина.

— А вы писателя Виктора Астафьева встречали? — вдруг неожиданно спрашивает он меня.

— Доводилось, конечно...

— Передайте ему, если еще раз увидите, что мы тут его «Оду русскому огороду» как учебник читали. Ведь мы огородники, наше дело — дать побольше разного овоща. И чтобы зимой он был в избытке, в самые студеные месяцы. Без овоща да картошки никакая еда не мила. Но пока не во всех больших городах огородной зелени вдоволь. Да еще хорошей. Я бываю и вижу. Расстройство одно, будто сам виноват во всем.

— А что, были нарекания?

— Однажды были и нарекания. Как-то осенью, в середине октября примерно, приехал я в Москву, чтобы фронтowego друга повидать, и зашел в овощной магазин. Кажется, на Цветном бульваре. В одной половине магазина, смотрю, все болгарское да венгерское: запыленные бутылки с соком и с наклейками, выгоревшими на солнце, банки с каким-то прошлогодним салатом. А во втором отсеке овощи. Овощи уже наши, а не болгарские. И, вернее, не овощи, а что-то высохшее, скрюченное, жалкое. Рахитичные хвостики моркови, не поймешь какого цвета, бледно-желтое что-то. Картошка в рваных пакетах, мелкая, вся в порезах и садинах. И свекла такая же. Сам овощ-то непривлекателен да еще грязя на нем комками налеплено. Я взял в руки морковину и спрашиваю у продавца: откуда, мол, такой продукт, уважаемая? Она зыркнула на меня глазами и ответила зло: «Из Подмоскovie, откуда же еще!» «Не может быть! — почти кричу я. — Мы таких овощей не выращиваем!» «Ах, так вы, значит, огородник? — вспыхнула продавщица. — Граждане, глядите, вот он халтурщик деревенский! Это он вас такой зеленью снабжает! И не стыдно вам? А уж в годах, седина вон...» Как не отнекивался я, не доказывал, что не нашего, мол, совхоза эти овощи, меня и слушать не хотели...

На второй год заглянул в этот же магазин. Смотрю, уже получше немного, овощи почище и качество их поприличнее. Только выбор мал. Яблочная пора, а яблок нет. Хранить не умеем. Вырастим и половину погубим. Овощ, фрукт, он ведь нежный, его сразу же надо или на прилавок, или в переработку. Машин для перевозки не хватает. Но дело к тому сейчас идет, что положение со снабжением овощами будет поправляться. Оно, конечно, спрос в первую очередь с нас, с овощеводческих совхозов, но не надо и маленькие огородики забывать. Там грядка, здесь полоска — каждый клочок земли должен что-то на стол давать...

Овощную тему Дмитрий Иванович развивает и на берегу Оки, куда он привез меня, чтобы показать пойменную низину. Снег еще не так глубок, и заметны борозды, идущие аж к самому горизонту. Летом

здесь зеленеет капуста, висит солнечная радуга над дождевальными установками. Капустный «огородик» в отделении не маленький — за триста гектаров, а всей земли целая тысяча. И чего только не растет на этой благодатной речной пойме помимо капусты: и редиска, и укроп, петрушка, кабачки, морковь, лук, огурцы, помидоры, свекла столовая. И картошки немало сажают, сеют травы, выпасы окультуривают: на плечах отделения еще и животноводство, четыреста голов племенного молодняка.

— Труд у нас кропотливый, во многом ручной, — говорит Дмитрий Иванович. — Людей надо много. А где их взять? И машин огородных, таких, чтобы сами с грядки каждую мелочь подбирали, еще не придумали. А пора бы ученым-то пораскинуть мозгами...

Слева, на узкой дорожке, ведущей к соседнему участку, показался оранжевый трактор с прицепом. Это везли удобрения. Дмитрий Иванович посмотрел на часы и заторопился в хранилища. Сейчас, зимой, закладывается будущий урожай. Не поработаешь как следует в январе, не жди богатых всходов в июне. Идет работа и с кадрами. Хотя все огородники у Ротастикова опытные, с малых лет, как говорится, на овощах, но Дмитрий Иванович тем не менее учебой занимается регулярно, особенно зимой, когда вечера длинные и есть время собраться.

* *
*

Совхоз «Большевик» награжден орденом Ленина. Хозяйство это огромное. Тянутся вдоль Оки и возле большаков старинные русские села: Рудаково, Пущино, Скрябухово, Калиновские выселки, Дракино, где петух на три области кричит — на Тульскую, Калужскую и на свою Московскую. В этих местах испокон веков овощем жили, огородами. Совхоз несколько лет назад отметил свой полувековой юбилей. За две последние пятилетки стал он наполовину городской. Дома многоэтажные выросли, клубы, десяток магазинов, поликлиника, детские сады, школы, фермы, теплицы. А Дмитрий Иванович помнит, когда из села в село ездили только на санях и на телегах. Первый тракторишко и грузовик с деревянной кабиной здесь в начале тридцатых годов появились...

Ротастиковы в совхозе всегда на виду были. Брат Дмитрия Ивановича, Аким, и работал и воевал здесь же. В кавалерийском корпусе генерала Доватора он лихо рубил фашистов. Второй брат, Григорий, вернулся на работу в совхоз из авиации подполковником. Сестра Шура на весь район гремела как лучшая овощеводка. Всех троих уже нет в живых. Недавно ушли они один за другим: раны фронтовые сказались, тяжести

той лихой поры. Но дети их и внуки достойно несут фамилию Ротастиковых...

А Дмитрий Иванович встретил войну в первую ее минуту: был он на западной границе заместителем политрука. Несколько атак отразили тогда бойцы, а когда подбежали к заставе, увидели погибших детей и женщин. Жена начальника заставы лежала у самого входа: в правой руке винтовка, а в левой четырехлетняя белокурая дочка ее. Хорошо знал сержант Ротастиков эту милую девчущку, сколько раз играл с ней в свободные от службы часы. Всю войну стояла она у него перед глазами. Пойдет во вражеский тыл за «языком», а сам эту девочку видит. И пальцы белеют от напряжения на ложе автомата...

Сейчас у Дмитрия Ивановича такая же четырехлетняя внучка Юля. Это от сына Евгения, инженера. А от дочери Нади, агронома с дипломом Тимирязевской академии, внук Димка, который ходит в третий класс...

Центральное отделение совхоза по многим показателям идет в числе передовых. Не один десяток лет уже. Умеет Дмитрий Иванович к каждому человеку с нужной стороны подойти. Все его слушаются и уважают. Его ни в чем другом не попрекнешь. А это очень важно, когда начальник в каждой мелочи образцово сам себя держит. Дмитрий Иванович больше сорока лет в партии, он справедлив и честен, бессменный пропагандист и агитатор, народный контролер, наставник молодежи. В горьком партии, когда надо выступить с какой-то большой районной или областной трибуны, обычно дружно предлагают:

— Надо Ротастикова послать. Ему есть что сказать да и скажет он толково...

И Дмитрий Иванович спокойно выходит на сцену, улыбочиво осматривает многолюдный зал и с первых же фраз вызывает симпатию и доверие, потому что говорит просто, без бумажки и всегда по делу. Он расскажет, как закладывались в совхозе первые парники, о Галине Алексеевне Лазаревой, неутомимой трактористке своего отделения, о Топорковой, Жердевой и Алексеевой, овощеводческих бригадирах, об Анне Леонтьевне Карпуцевой, Резникере Валентине Васильевне Агеевой, у которых Золотые Героев на груди, о Чибисове, Леонове и Подшибякине, дружках своих фронтовых, лучших механизаторах, о ребятах-школьниках, которые на пойме каждое лето помогают и решили остаться в совхозе...

А в мае, в День Победы, к стеле, на которой выбиты фамилии погибших воинов, Дмитрий Иванович приходит с Димкой и Юлей. Он долго стоит, обнажив голову, и мысленно говорит с теми, кто домой не вернулся. Всех их он хорошо знал, вместе с ними выращивал овощи, ловил рыбу в Оке, ходил в Дракино на гулянки, где были лучшие гармо-

нисты. Знал он и агронома Колю Севрюкова, который посмертно стал Героем Советского Союза. Гремит совхозный духовой оркестр, рвет сердце на части, и чувствуют Юля с Димкой, как дрожат у ихнего дедушки руки. И домой он потом идет медленно, позвякивают на его груди военные медали, здоровается Дмитрий Иванович со своими знакомыми, останавливается в пути, беседует.

— Иваныч, дорогой! — окликнет его из окна кто-то из пожилых женщин, солдаток, — заверни на минутку, загляни, помянем моего-то Федора...

— Зайду, зайду! — обещает Ротастиков, — вот только ребятишек отведу бабке.

И он в самом деле, оставив дома внуков, возвращается к той солдатке. А у той уже, смотришь, другие вдовы сидят, наливают они по рюмочке, выпивают за Победу, за мужей своих дорогих, которые сложили головы кто на Днепре, кто в Польше, а кто и перед самым Берлином. Не выдержит иная, расплчется, треугольнички солдатские, присланные с фронта, начнет читать. Дмитрий Иванович начнет их успокаивать, а у самого тоже слезы на глазах навертываются... Нет, никогда не забыть близких людей и те военные годы...

* *
*

После недельной оттепели изменился ветер, пошла гулять по полям и дорогам сухая колючая поземка, наметая косые упругие сугробы.

— Это ничего, пусть дует, лишний снег нам не повредит, — сказал на утренней планерке Дмитрий Иванович. — Сегодня приступаем к набивке пленки на теплицах. Надо пораньше все сделать, март вот он, не за горами, в первых числах уже рассаду закладывать будем...

Работы у овощеводов зимой и летом много. Хочется Дмитрию Ивановичу в новом году перекрыть все прежние показатели. Но нужны новые машины, материалы разные, удобрения, особенно органика, навоз.

— Ну что это, Александр Петрович, за куцые подачки такие, — высказал Ротастиков свои претензии директору совхоза Константинову. — Пять тонн на гектар, а надо двадцать. Да и химических удобрений не хватает. А я бы их вообще свел до минимума, если бы органики было вволю...

— Неплохо бы вволю-то, — сказал Иван Васильевич Лопатин, секретарь парткома. — Но наше животноводство недодает ни молока, ни мяса, ни навоза, извините. Убытки несем, фермы нашу овощную прибыль на корню съедают...

— За счет торфа попробую извернуться,— вздохнул Ротастиков.— Пусть Шатура побольше нам торфа отгружает...

Вместе с агрономом Евгенией Григорьевной Зименковой Дмитрий Иванович проверил анализы почв, «поскреблили они по сусекам» в своем отделении, прикинули, где еще можно достать удобрений, взяли под особый контроль хранение и обработку семян. Ротастиков каждый день с утра обходит хранилища. Там и картошка для весенней посадки, капуста, морковь и свекла, которую постепенно партиями отправляют в город. Сейчас народу особенно не хватает: отпуска начались, люди поехали в дома отдыха, в санатории. Просит Дмитрий Иванович пенсионерок на складах поработать, и те не отказываются, идут: надо, так надо, старая гвардия, она никогда не подведет...

И почти каждый вечер, помимо основной работы, у Дмитрия Ивановича какие-то общественные или партийные нагрузки. То беседа с комсомольцами, то плановая учеба в кабинете растениеводства. А кому же новую смену готовить, как не таким мастерам своего дела! Дмитрий Иванович по овощным вопросам с любым профессором поспорит. И спорил уже и побеждал, доказывал свою правоту. Однажды ему один ученый-овощевод сказал по-доброму:

— Голубчик, да вам надо защищаться! Ей-богу! На кандидатскую степень вы уже с довеском тянете...

Объехав дальний участок, Дмитрий Иванович отпустил шофера и пошел к поселку пешком. Уж очень погода была приятна: настоящий зимний денек с мягким пушистым снегом. На повороте путь ему пересекли петли заячьих следов. «Эх, на охоту, что ли, сходить, елки зеленые»,— подумал он с радостью и тут же засмеялся: ружье у него давно заржавело, в обоих стволах живут пауки...

Возле детского садика он замедлил шаг. В широкие окна было видно, как жена его, Лидия Михайловна, наряжает с ребятами елку: она там давний воспитатель...

А возле конторы Ротастиков встретил Алексея Семеновича Подшибякина и Чибисова Дмитрия Кузьмича, фронтowych своих товарищей. Их часто видят вместе и называют уважительно: Иваныч, Кузьмич и Семечыч...

— Надо проведать Сашуху Суворова,— предложил Ротастиков,— он что-то прихворнул малость...

И зашли друзья к Александру Павловичу Суворову, механизатору отделения. У Суворова и сын Саша, и внук Саша. Этому внуку всего шесть лет, но его часто видят в кабине дедушкиного трактора.

— Вот простудишь парнишку, так я тебе задам!— пригрозила бабка, заваривая чай.— Садитесь, мужики, варенья сейчас положу...

Теплеет на душе, когда сидишь рядом с товарищем своим, едино-

мышленником, хорошим, серьезным человеком, почти однополчанином. Вьется чайный парок над кружкой. Неторопливо тянется беседа о жизни, о политике, о работе, о детях и внуках. Вот войны бы не было, а так ничего нам не страшно, любые дела поправим, марке своего совхоза померкнуть не дадим. И похвала срывалась с их уст и критика: недостатков на каждом участке еще хватает. Но это была критика не посторонних, а хозяев. Они тут все сами на Оке у Серпухова создали, им и украшать эту землю...



Этой весной довелось мне проезжать через поля совхоза «Большевик». Был я и на «огородах» Ротастикова. Всходы зеленели вовсю. Играли солнце в стеклах теплиц...

А в конце мая я позвонил в Серпухов, в горком партии. Трубку взял Иван Александрович Орловский, секретарь горкома, ведающий селом.

— Дмитрий Иванович Ротастиков и его бригада, как и всегда, впереди,— сообщил он мне.— Скоро пойдет первая зелень с его обширного огорода!

— В Москву или в Серпухов?

— Только в Москву!

— Какие овощи начнете поставлять?

— Сначала самые ранние. Укроп, редиску, лук зеленый. А чуть позже и огурчики пойдут. Прямо с грядок. Дмитрий Иванович в этом году хочет особенно хорошо поработать.

— Мы второй день его ищем по всем телефонам...

— Лучше и не ищите. Он с рассветом уже в полях!

Конечно, в полях. С утра и до вечера. Такой уж он человек, этот Ротастиков, фронтовик, коммунист, знаменитый серпуховской огородник.

ОЖИЛА ДЕРЕВНЯ

Собираясь осенью в деревню, заранее представляешь размытые проселки, густые холодные грязи, следы буксовавших машин. И хотя к каждому дому тянется четыре провода и стоят на многих крышах телевизионные антенны, лицо иной деревеньки все-таки что-то печалит. Или это брошенная в колее телега, или неряшливая хозяйка, выплеснув-

шая помои с крыльца своей новой избы, или соломенная защитка рядом с голубыми наличниками. В общем, во многих, даже самых аккуратных и чистых деревнях найдется еще что-то такое, говорящее о бестолковом разное красок и форм, о безвкусице, равнодушии к планировке и виду.

Ожидал я увидеть примерно подобное и недавно, когда подъезжал к деревне Рапти, что под Лугой, если ехать на юго-восток. Вот, думаю, откроется сейчас картина с подгнившей изгородью, с плетнями у огородов, с лужами мутной рыжей воды. Да и название какое-то чудное: Рапти. Уж лучше бы Лапти — сразу понятно. А может, и было Лапти да заменили потом первую букву? Ехавший со мной местный газетчик сказал, что скорей всего имя это — Рапти — идет от речки Ропотки, протекающей рядом.

Но дело в конце концов не в названии. Иное село и зовется красиво, а в резиновых сапогах по нему не проберешься, поросята тонут перед самыми окнами.

А деревня Рапти встретила нас асфальтом. Кончился сосновый лесок, густые озими слева, и началась перед въездом в Рапти вместо земляной асфальтовая широкая дорога. Открылись за поворотом кирпичные белые дома, городские тротуары, газоны и клумбы, электрические фонари на столбах. Две девушки процокали модными каблучками и скрылись за калиткой в саду. И это в октябре, когда кругом сыро, не поймешь, откуда и каплет, когда про сельские колдобины слагаются анекдоты...

В Рапти восемьсот жителей. Это в основном рабочие совхоза имени Дзержинского. Деревня имеет четыре магазина, три из них — продовольственные, клуб, восьмилетнюю школу, баню, столовую, не уступающую ленинградской, больницу, библиотеку, пекарню, детский комбинат, водопровод и канализацию. И всюду за домами желтеет антоновка, висит крепкий полосатый анис, а возле тротуаров стоят развесистые дубы и клены, уже багрово-золотые, наполовину опавшие, но еще настолько густые, что Рапти ни с какого края сфотографировать невозможно — выйдут, пожалуй, только стволы деревьев да заросли, целиком укрывающие стены.

Раскинулась Рапти на возвышенном берегу Черемнецкого озера, прозрачного и глубокого, двадцатикилометровой длины. Когда смотришь вверх от воды, деревня словно бы плавает в небе, парит вместе с облаками. И радует глаз приятное сочетание: городская культура и сельская зеленая прелесть.

— И как вы добились этого? С чего начинали?

— Мобилизовались, дорогой товарищ. Всем миром налегли.

Федор Моисеевич Дехтяр, «мэр» здешних мест, то есть председа-

тель сельского Совета, смотрит на меня улыбочиво и, мягко разговаривая полуукраинским своим говорком, ведет по улицам. Через каких-то полчаса нас уже окружает целая толпа, в основном мальчишек и пенсионеров, и каждый, перебивая соседа, хочет добавить что-то важное о своей родной деревне.

* *
*

Раньше в Рапти жили князья Половцовы. Недалеко от берега, на невысоком взгорье, стоял их огромный дворец. Старики до сих пор помнят, как подъезжали к парадным воротам кареты, светились яркие огни, играла музыка и управляющий из немцев, замахиваясь плеткой, прогонял любопытных молодых крестьян, теснил их за дорогу, где они ютились в низких и черных хибарах.

До войны во дворце был дом отдыха. Здесь так же, как и раньше, играла музыка и светились огни, но танцевала уже у фонтана не княжна, а рабочие с бывшего Путиловского, колхозники ближних деревень. В войну, отступая, фашисты взорвали дворец, и когда демобилизованный и влюбленный в местную девушку лейтенант Федор Дехтярь пришел с вещмешком в Рапти, то увидел груды развалин. Старые барские аллеи и пепел на месте домов. Тогда казалось, что восстановить ничего невозможно и лебеда покроет бывшие подворья.

Но жизнь есть жизнь. Да и люди здесь не такие, чтобы унывать. Начали понемножку строиться. Организовался в Рапти совхоз. А когда его возглавил новый директор Валентин Михайлович Гребнев, деревня стала быстро менять свой облик. Гребнев не в пример другим думал не только о надоях, настригах и привесах. Он как-то за перевыполнением планов по овощам и молоку заговорил вдруг о культуре села. Живем, мол, мы теперь хорошо, заработки у рабочих приличные, но разве в еде да в одежде дело? Культуру на селе надо продвигать, удобства городские заводить. Грязнее Рапти нет в Ленинградской области деревни. А надо сделать так, чтобы она лучшей была, на всю Россию гремела...

В зале кто-то нетерпеливо покашлял, а потом выкрикнул:

— Слава-то хорошо! А вот когда из-за метра трубы инфаркт получите, но не достанете этой трубы, тогда и песенка будет другая!

Реплика не остановила директора. Он сказал, что помощи особой наверняка не будет и все придется делать самим. Или, говорит, грязь непролазная, или тротуары, сады. Народ согласился. Даже аплодисменты прогремели. Это, конечно, не Гребневу хлопали, а вообще своему решению. Не шуточное дело задумали: из убогой забитой Рапти первую в об-

ласти деревню сделать. Федор Моисеевич Дехтярь смотрел тогда на Гребнева и радовался: хорошо с таким работать...

Начали с того, что создали комиссию по благоустройству. А председателем затвердили Тышкевича, агронома, человека строгого, работающего.

Первые воскресники проходили вяло. А потом расшевелились. И дети, и старики идут. Кто с лопатой, кто с ломом. Канавы роют, землю для тротуаров насыпают. Песни, шум, смех. Любое дело стоит только начать...

А вот насчет труб и других материалов действительно плохо было. Гребнев сам ездил в город, в горком партии, шефов своих умолял. И ведь правду говорят в народе, что под лежащий камень вода не течет, а стучащему открывают. Помогли раптинцам, подбросили кое-что. Да и как было не помочь таким людям, которые все совхозные планы перевыполняют, а в свободное время родную деревню на городские, как говорит Дехтярь, рельсы ставят. Помогли, конечно. И асфальт проложить и дома построить. А канализацию и водопровод свои механизаторы сделали. Все вместе. Кто что умеет...

Четыре года благоустраивали раптинцы свою деревню. Было построено пять шестнадцатиквартирных, три восьми- и один двенадцатиквартирный дом, не считая культурно-бытовых зданий и типовых финских дымоков. Заборы уже не красились по прихоти хозяина: какую краску выбрал, такой и намалевал. И деревья не садили где попало. Все делалось по плану, по проекту. Заботились не только о внешней стороне, но и о внутренней. Заявится комиссия в квартиру к какой-нибудь хозяйке и, обнаружив грязь, начнет неряху честить: как не стыдно, дом новый, под окном асфальт, а у тебя клопы скоро заведутся...

Много было работы, много хлопот, но зато как хорошо сейчас: сухо, чисто, красиво. Федор Моисеевич, чувствуя себя хозяином, показывает мне новостройки. Вот детский комбинат: двухэтажный, просторный, с солнечной верандой. Мама теперь не знает заботы: ребятишки с утра до вечера в надежных, умелых руках. Вот магазины: продовольственные, промтоварный. Заходим в крайний. Смотрю на телевизор стоимостью в триста тридцать четыре рубля и спрашиваю продавца:

— Берут?

— Еще как! Деньги у людей есть, вот только нужных товаров мало...

В разговор вступают женщины, стоящие у прилавка. Они подтверждают слова продавца. Совхоз рентабельный, платят хорошо. Семья Миных, например, одной дополнительной надбавки, не считая зарплаты, получила в прошлом году две тысячи рублей. А ведь у рабочих все свое: картошка, молоко, мясо. В деревне сейчас жить хорошо, особенно

в Рапти, где и вода на кухне из крана бежит, и магазины под боком, и варить обед не надо, если некогда: бери в столовой, что тебе нравится. Рапти — деревня интеллигентная, из нее никто не уходит. Двадцать человек с высшим образованием здесь живут. Библиотека в Рапти городской не уступит. Да наша Рапти...

— Они вас заговорят, жить здесь останетесь, — перебивает «мэр» женщин, а сам доволен: смотри, мол, как люди свою деревню хвалят, мне, мол, только помалкивать приходится.

* *
*

Вечером по вторникам у Гребнева совещание по благоустройству. Это уже как закон. А сегодня к тому же большая радость: деревня Рапти завоевала первое место в области по благоустройству, сельсовет получил за это премию: десять тысяч рублей.

Федор Моисеевич светится. Десять тысяч! Это же сто тысяч по-старому. Да когда это у председателя сельсовета было столько денег? Да еще таких, которые он со своими депутатами будет расходовать по своему усмотрению? И хотя «мэр» является по совместительству замом Гребнева по хозяйству, он смотрит на директора независимо, важничает.

— Рассаживайтесь, товарищи, — говорит Гребнев. — Федор Моисеевич, сюда, пожалуйста, ваше слово. Вы сейчас не мой зам, а власть наша. Большинство депутатов в сборе. В нашем кабинете внизу мы бы все равно не устроились...

Дехтярь сообщает решение сельсовета и комиссии по благоустройству: все деньги, до одной копейки, на культурно-бытовые нужды. На той неделе начинаем строить широкую аллею. Она пойдет от Репти до Естомичей. Это три километра. Сажены завезены. Все деревни сельсовета будут такими, как и Рапти.

— Но какая же Рапти деревня? — пожимает плечами Гребнев. — Это же кусок города, поселок по крайней мере. У меня есть предложение: надо войти в ходатайство, чтобы именовать ее поселком. Рапти как деревня погибла...

— С одной стороны, она погибла, — сказал Тышкевич, — а с другой стороны, как бы воскресла...

— Пусть будет деревней, — говорит Федор Моисеевич. — Мое такое мнение. Это даже лучше. Все деревни со временем станут такими. К этому дело идет...

Я выхожу на улицу. Темнеет. Из клуба доносятся звуки духового оркестра. Совхозная самодеятельность, которую не раз тепло встречали в самом Ленинграде, разучивает новые вальсы к празднику. Внизу мато-

во блесит озеро. Чернеют руины княжеского дворца. Вот тут, видимо, была старая дорога. А тут арка, откуда управляющий из немцев прогнал плеткой крестьян.

Пытаюсь представить это и не могу, хотя и вальс старинный слышен и огни горят. Мимо проходят знакомые парни и девушки, раптинцы. Они торопятся в кино и кричат мне на ходу, чтобы приезжал через пять лет посмотреть на новую аллею, на новые дома.

Очень хорошо, когда о будущем говорят молодые. Значит, новые дома будут. Будет и аллея. Все будет, что они захотят.

НОСИТЬ ПОЭЗИЮ В ДУШЕ...

На всем белом свете нет, пожалуй, такой ясной осени, как в Центре России, где земля скромна и в меру холмиста, а леса так разнообразны и так перемешаны, что в пору бабьего лета зажигаются разными красками и долго стоят прекрасные в своем увядании. Смотришь на притихшие рощи за рекой, и сами собой рождаются в душе есенинские строки:

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога,
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

В такие дни воздух прозрачен, далеко кругом видно и дышится сладко, легко, с души что-то спадает и мысли текут плавно. И час и два шагаешь полями, а усталости нет, идти хочется бесконечно, не разбирая дороги. Вот уже и жнивье кончилось, озеро показалось за ольховником, темные стога сена, льняные суслоны на взгорье. Наконец садишься под багровой осиною и, чувствуя винный запах прелой листвы, смотришь, как по клеверищу, словно дикие, бродят сытые кони, тянутся к белой колокольне грачи. Солнце уже село, но небо еще голубое, с еле заметным закатом, с рыхлой розовой полосой, оставленной самолетом. С бугра видно, как по тропке, усталой мягкой кленовым ковром, идет девушка с портфелем в руках. Вот она остановилась и стала декламировать с выражением, словно на сцене:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

Кто она, эта девушка? Сельская учительница? А может быть, школьница? И что ее заставило вслух читать стихи, какая сила разбудила в ее душе пушкинскую поэзию? Наверное, осень, шорох листвы, курлыкание журавлей, улетающих в жаркие страны...

Как-то шел я из Смирнова в Малые Соли. Был октябрь, леса уже сквозили, за Солоницей, на лугах, гуляло стадо, и несло дымом с картофельных полей. Я шел медленно, посматривая на перелески, на деревенку за лощиной, и вдруг ясно представил живого Некрасова. Ведь он в этих местах охотился, бродил с ружьем, ночевал в сараях на копнах свежего сена. Может, вот как раз здесь, у этих старых дуплистых березок, он и останавливался, отдыхал на пригорке, беседовал с деревенскими ребятишками, думал, наблюдая, как крестьяне молотили цепами рожь, слагал строки своих стихов. Может, потому как живой и видится на этих дорогах Некрасов, что он создал, бывая здесь, много поэтических произведений, воспел красоту верхневолжской природы, потому что он так нежно любил:

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!

Сама по себе природа вечна и почти неизменна. Пройдет сто лет, люди придумают новые машины, побывают на Марсе, а леса будут такими же, и так же будет пригоршнями разбрасывать ветер золотой березовый лист. И так же, как сейчас, природа будет будить в человеке порывы творчества. И так же будет страдать, ненавидеть и любить человек...

Плыли мы как-то вниз по Ветлуге на старой деревянной барже. Рабочие леспромхоза, их было человек десять, играли в карты, лениво переговаривались и курили. А две поварахи и женщина из района сидели на корме и ели яблоки. Река сначала была узкой, берега унылы, с лознякам и ольхой, с корягами на белом песке. Но вот баржа, влекомая катерком, обогнула отмель и вышла на широкий простор. Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и в это черное зеркало смотрелись с обрыва матерые задумчивые ели, тонкие березки, тронутые желтизной. Рабочие отложили карты, а женщины перестали есть. Несколько минут стояла тишина. Только катер пострелил глушителем да за горной вскипала пена.

Вскоре мы вышли на самую середину реки, и, когда за изгибом показался хуторок с убегающей в поле дорогой, женщина из района склонила голову набок и запела тихо:

Куда бежишь, тро-пи-инка-а-а ми-ла-а-я,
Ку-уда зове-ешь, ку-уда-а ве-еде-ешь...

Поварихи тоже стали глядеть на дорогу и, пока женщина делала паузу, как бы забыв что-то, повторили первые слова песни, а потом уж все вместе ладно и согласно закончили:

Кого-о-о жда-а-а-ла-а, кого люби-ила-а я,
Уж не воро-о-тишь, не-е-е верне-ешь...

Они некоторое время молчали, не отрывая серьезных лиц от берега, и, вздохнув, поправив платочки, продолжали, смотря друг на друга и как бы чувствуя родство душ:

А там вдали-и-и, за тихо-о-ой рощицей-ей,
Где мы гуля-я-ли-и-и с ним вдвоем,
Плывет луна-а-а, любви-и-и помо-ощница,
Напомина-а-ет мне-е-е о не-ем...

А мужчины, сдвинув брови и поджав губы, тоже уставились на хуторок, и кое-кто из них невольно подтягивал, не зная слов или стесняясь петь в голос. И целый час все вместе пели они эту песню, по несколько раз повторяя одни и те же строчки, а баржа катила себе вниз по Ветлуге, по лесной дикой реке, мимо дровяных штабелей, осокорей и лесных кордонов. Я смотрел на них, вдохновенных, и думал о том, что вот все они разные, а сейчас вдруг как бы одинаковыми стали, что-то заставило их сблизиться, забыться, почувствовать вечную красоту. Еще подумал я и о том, что красота, видно, живет в сердце каждого человека и очень важно суметь разбудить ее, не дать ей умереть, не проснувшись...

* *
*

Осень не только здоровая печаль, но и радость. Осень — это закрома хлеба, свадьбы в деревне, богатые рынки.

Недавно я снова побывал на Верхневолжской земле у своего старого товарища комбайнера Виктора Костина. Витька — парень еще молодой, холост, фасонит перед девчатами в клубе военной, недоношенной после службы фуражкой. Он рано закончил уборку и, встретив меня,

похвалился, что урожаи нынче хорошие и хлеба и льна будет много. Он позвал меня в дом и шепнул при этом, что мать разбирает поросенка и что-то варит. Такое выражение — разбирать поросенка — бытует в этих местах, и я знаю, что это значит.

Мы входим в сени, и я начинаю удивляться обилию разной снеди, овощей, новой обстановке в доме у Костиных.

— Вы отстаете, сударь, от жизни, — небрежно и шутливо говорит мне Витька. — Эта осень у нас самая богатая. И вообще в деревне жить теперь можно. Очень даже можно. Видал, какое у меня ружье? Не «голанд-голанд», конечно, но... Заграничная штучка! На Джека выменял. Теперь у меня другая собака — Альбатросом назвал. Сила! Идем покажу..

Витька, страстный охотник, показывает мне своего Альбатроса, фантазирует, и я уже вижу его на хрустящей, подмороженной озими, у овсяных ометов, где любят ночевать зайцы. Как только падет первая пороша, Витька, лучший механизатор, плюсун и балагур, спустит с цепи своего Альбатроса, повесит на плечо заграничное ружье и пойдет бродить по холмам и низинам. Он, как и всегда, вернется пустой, даже не стрельнет ни разу, но зато весь вечер будет рассказывать о том, как увидел в долине, среди сосен и елей, золотую, не обнажившуюся еще почемуту, несмотря на снег, березку. Он будет улыбаться при этом и крутить головой, и каждый поймет, что Витька — поэт, сочинитель, хотя и стихов не пишет. И может, кто-то позавидует ему, о чем-то пожалеет...

Позавидует и подумает о том, что стихи писать необязательно, а поэзию носить в душе, как ее носит Витька, желательно бы каждому...

ДЕМЬЯНОВО БОЛОТО

За поворотом дорога пошла под уклон, к мосту, и Демьянов попридержал трактор, опасливо посмотрел назад, на прицеп, доверху наполненный торфяной крошкой. В этом месте в сырую погоду не каждый решается ехать: спуск глинистый, крутой, а вода, поди уж, просочилась сквозь остатки снега, того и гляди, сползешь в колдобину. И Демьянов здесь не поехал бы, мог бы свернуть на Холмино. Но еще с утра пообещал он овощеводам из «Ударника», что пятьдесят тонн крошки под капусту обязательно забросит. А пятьдесят тонн — это двенадцать рейсов. Через Холмино с таким планом засветло не обернешься, вот Владимиру Павловичу и пришлось искать пути покороче...

Он выгрузил последнюю тележку и налегке покатыл к Руднянскому тракту. Солнце уже стояло у самого горизонта, но было еще таким теп-

лым, что Демьянов приятно чувствовал его щекой. И на душе у него тоже было приятно. Сегодня он хорошо поработал. А завтра, пожалуй, и не выедешь: дороги совсем уж сели, наст так и расползается под гусеницами. На ремонт надо вставать. Страда для мелиораторов, этих «болотных богов», начинается, когда уж схлынут талые воды и пообсохнет немного. А сейчас самое время машину подлечить, подтянуть все узлы. От первого и вот до последнего снега Демьянов возит на поля торф, ежедневно по полторы нормы дает как минимум. И, конечно, трактор подносился, придется и поршневые кольца менять и, может, два цилиндра растачивать.

Ровно и весело поет, постукивает двигатель. Удобно в кабине, уютно, легко думается под монотонную эту музыку. Проскочил мимо райкомовский «газик», знакомый шофер приветливо махнул рукой. Стайка грачей взлетела с обочины и потянулась к деревне. За последние дни что-то здорово потеплело. В Королеве скворцов уже видели. Вот так погрееет с недельку, и кое-где наверняка сеять начнут. Май скоро, праздник. Вчера жена в одной комнате уже зимние рамы выставила. Рановато вроде бы, но дочери, Людка с Леной, не давали прохода: «Выставляй, мама, а то рябина испортится». По деревенской своей привычке положила Нина осенью между окон гроздь рябины и пообещала детям, что достанет их, когда солнышко сосульки растопит. А раз обещала, слово свое надо держать...

Впереди показалась Рудня, больше похожая на среднее село, чем на районный город. На самой окраине, чуть в сторонке от основной дороги, раскинулся «городок в городке» — передвижная механизированная колонна, или ПМК, центр мелиораторов. Демьянов отцепил тележку, загнал трактор под навес. Тут я его и встретил. Идет из гаража переваливаясь, вытирает на ходу руки. Ну, могуч парень, силен, вылитый тяжеловес Жаботинский, даже пополнее его, пожалуй, помассивнее. Оттого, наверное, и стесняется чрезмерно, смотрит из-под бровей, но по-доброму, по-свойски, на полном загоревшем лице виноватая такая улыбочка.

— Не знаю, чего, понимаешь, и рассказывать... Дело обыкновенное... Болота сушим, землю обихаживаем, торф вот зимами возим...

Да, не говорун Демьянов... А работник отличный, орден получил за мелиорацию, а рассказать вроде и нечего: «Дело обыкновенное, землю обихаживаем...»

* *
*

Тридцать три года Демьянову, как и Илье Муромцу. Иногда его в шутку друзья так и величают: Илья Муромец из Рудни. А он и не обижается. Только когда уж сильно озоровать начнут, примет боксерскую

стойку, гикнет по-разбойничьи, и всех шутников тут же как ветром сдует...

Демьяновых под Рудней много. Фамилия эта старинная, крестьянская. Говорят, что она из Песков пошла, из небольшой красивой деревеньки. Пески — родина Владимира Павловича. Сейчас там живет его мать. А отца он не помнит. Ему было всего два месяца, когда за связь с партизанами отца расстреляли фашисты. Он был «белобилетником», то есть освобожденным от службы, и в армию не попал, стал сражаться здесь, в глубоком тылу. Осталась от него всего одна довоенная карточка, и, бывая в Песках, у матери, Владимир подолгу на нее смотрит и каждый раз спрашивает, забывая, что уже сто раз задавал эти вопросы:

— Мам, а какой он был? Ну, вообще, как человек?

По рассказам матери он уже знал, что его отец все умел делать, машины любил разные, и, может, поэтому Владимира с раннего детства и потянуло в кузницу, к железу, к моторам. После семилетки поработал он года два прицепщиком, и послали его в Демидов на тракторные курсы. Вот с тех пор и водит он колесные и гусеничные машины всех марок.

А в мелиораторы направили его как лучшего механизатора. Было это десять лет назад. Он тогда только что женился. Из соседней деревни невесту выбрал, из Микулина. Переехал со своей Ниной в Рудню. На частной квартире немного помыкались, а потом получили свое жилье в новом доме со всеми удобствами. Две дочки вот растут, мать из Песков частенько приезжает, привыкли, не так уж и далеко Рудня от родных мест...

Здесь, в отряде мелиораторов, Демьянов из угловатого деревенского парня вырос в хорошего специалиста, в человека общественного, развитого разносторонне. Народ кругом хороший, почти все где-то учатся, ведут общественную работу. С такими людьми в ногу пойдешь — плохому не научишься. Вот хоть Саша Пчелкин, он кусторез обслуживает, Кирпиченков Иван и Иосиф Куневич, оба экскаваторщики, оба заслуженные мелиораторы республики, мастер Петр Мартынович Леоненков, прораб Сысоев — да мало ли людей в колонне, у которых и опыта много, и душа всегда открыта для друга: только смотри, запоминай, наматывая на ус. А присматривался Демьянов к своим товарищам, что называется, в оба глаза, пробовал все делать, как они делают, и с доброй ревностью думал при этом: «Вот они же могут, а я что, рыжий, что ли?» И оставался у машин вечерами, выспрашивал мастера Петра Мартыновича о новой технологии срезки грунта, дома книги читал, журналы по своей специальности. Соседки, встречая Нину, ворковали с завистью:

— Ну что за муж у тебя, прямо глядеть люблю, все учится, с дочками гуляет и не пьет, кажись...

— Может и выпить когда, но ума не пропьет,— отвечала радостно Нина.

Упорство Демьянова, его открытое, доброе сердце, какая-то необыкновенная любовь к технике располагали к нему людей. Рядом с ним все как-то легко было делать: и работать, и есть суп из одной миски у трактора, и беседовать о жизни, и даже молчать. Он постепенно, одного за другим, обогнал своих учителей, стал знаменит в районе, числился в виртуозах, и председатели колхозов, делая заявки на мелиоративные работы, каждый раз спрашивали начальника колонны:

— А Демьянов будет? Очень просим Володю Демьянова!..

Последние три года Владимир Павлович работает на бульдозере. Без этой мощной машины с широченной лопатой впереди в мелиорации не обойтись. Ваня Кирпиченков, скажем, роет ковшом канаву в низине, а Демьянов следом за ним идет, землю ровняет, кивальеры в порядок приводит. Вся техника наваливается на бросовый участок: и кусторезы, и корчеватели, и плуги специальные. Постоит над болотистой машинный рев недели три, и глядишь, уже ровное поле там, вспаханное и удобрённое,— сей только. Я спросил у Демьянова, есть ли разница в урожаях на землях обыкновенных и землях мелиорированных. И он вроде бы даже обиделся на такой вопрос.

— Да наш гектар за два простых идет! — сказал он с необычной горячностью. — Наш гектар сытый, он произвесткован, кислотность с него снята, торфом он пропитан. Прошлым летом район в среднем собрал зерновых по пятнадцать центнеров, а мелиорированные земли дали по тридцать одному центнеру с гектара! А картошка по сто семьдесят вместо каких-то девяноста центнеров! Звучит? Есть разница? А закрытым дренажем наша колонна мелиорирует ежегодно около одной тысячи гектаров...

Демьянов знал многие цифры по району, называл их с гордостью и мелиорацию, кажется, ставил превыше всего. Он со своими товарищами преображает землю, возвращает ей силы.

Как-то Демьянов с Иваном Кирпиченковым работали на лугах, и подкатил к ним Зюзин Сергей Петрович, директор совхоза «Ударник», крикнул еще от машины:

— Ну, ребята, молодцы! Спасибо вам! Сейчас на вашем поле ямень убирать закончили, по тридцать два центнера на круг вышло! Вот оно и Дунькино урочище! А ведь там почти тысяча гектаров!

Дунькино урочище рядом с деревней Дуньки. Старики с юмором рассказывают, что когда-то, очень давно, у них бабы были некрасивые,

и все как одна Дуньки — отсюда якобы и название. А на урочище и смотреть было страшно: топь, блюдца гнилой воды, чахлый кустарник. Ни коров пасти, ни траву косить, ни ягоды с грибами собирать — гиблое место. А теперь там широкое поле, хлеба густые на ветру ходят, малиновые клевера радуют глаз. И таких Дунькиных урочищ много на счету у мелиораторов, в каждом колхозе благодарят их за полезную работу...

Нет, кажется, уголка в районе, где бы Демьянов не прошелся со своим бульдозером. Он и дороги строил, и пустоши распахивал, и дамбы насыпал, возил и буксировал, боронил и сеял. Однажды бухгалтер, когда Демьянову вручали ценный подарок, прикинул в шутку, что, если, мол, всю землю, перелопаченную Володей, в кучу собрать, то собственный Казбек можно воздвигнуть...

До своей делянки Демьянов, если это не так далеко, любит ходить пешком. Солнышко над лесом еще только поднялось, еще брызгает свежей росой трава, а он уже шагает напрямик через поле. Места под Рудней всюду красивы: увалы, берозовые перелески, выгоны, озера Глобань и Купелище, одни уж названия которых так и манят к себе своей чистотой и красотой... Здороваются Демьянов с ребятами, запускает двигатель и врывается лопатой в грунт. Летает, плачет над кабиной чибибс, отводит от своего гнезда. Или зайчишка из-под елочки выскочит, запрыгает, испуганный, в чащу. Жаль, конечно... Иногда так бы и остановил машину, бросил это болото, где и птички гнезда есть, и кусты черной смородины, и родники под валунами. Конечно, гибнет что-то живое, но тут же создается и новая жизнь, закладываются блага для людей. Мелиораторы разумно все делают, частенько проектировщиков, которые из городских контор многого не видят, тактично поправляют, по возможности оставив и березки, и рощицы, и ключи. Земля должна быть не только богатой, но и красивой.

* *
*

На второй день я зашел в мастерские, чтобы еще раз повидаться с Демьяновым. Шум, грохот со всех сторон, синим огнем полыхает электросварка. Спросил одного парня, где Демьянов, и тот ткнул пальцем куда-то влево и вниз. Смотрю, торчат из-под трактора ноги в сапогах сорок пятого размера. Значит, он, Демьянов. Уже успел почти всю свою машину раскидать. Вот это работа!

— Эй, Володя! — потихоньку стучу по его подошве. — Как делишки?

Он ловко вылезает из-под картера и говорит, что недельку с бульдозером придется повозиться, а то и больше, если всех запчастей не дадут. Машина зря у него никогда не стояла и стоять не будет...

Мы выходим на улицу. Сегодня солнышко греет сильнее, чем вчера. И застыло над городком синева-теплое апрельское небо. Ни облачка на нем, ни малейшего пятнышка. Только белый след, оставленный самолетом, медленно распадается в вышине. И от сырых полей, раскинувшихся за мастерскими, так призывно и волнующе пахнет. Совсем немного осталось до весенней страды. Скоро уж... Скоро Демьянов выедет, чтобы «обихаживать» родную землю, выедет на свое болото, которое зовут Демьяновым...

КОМИССАРША

Свернув с большака, я пошел по узкой санной дороге. Над полями гулял низовой ветер с поземкой, и ноги буксовали в сухом мелком снегу. Мне надо было засветло разыскать Матрену Павловну Петушкову, секретаря партийной организации из колхоза «Россия».

Колхоз «Россия» большой, и, когда здесь создавали партком, коммунистов-механизаторов решили выделить в отдельную первичную организацию. На бюро сразу же возник вопрос: кого рекомендовать секретарем? Некоторые клонили к тому, чтобы подобрать мужика зубастого и солидного, потому что в тракторной бригаде народ отчаянный, немало любителей выпить и какой-нибудь слабак, не говоря уже о женщине, такую ношу не потянет, захиреет на корню. Но как-то так получилось, что из всех «силачей» именно женщину, Матрену Павловну Петушкову, уже пожилую, никогда не имевшую дела с железом, и выбрали лихие механизаторы. Петушкову нам — и никаких!

В Смоленске, в обкоме партии, мне рассказывали, что, став секретарем, или, как ее прозвали трактористы, комиссаром, Матрена Павловна за короткий срок сумела перевернуть всю бригаду вверх тормашками, и, шагая сейчас к ней, я почему-то рисовал Петушкову крупной, этакой бой-бабой. А когда увидел, даже разочаровался несколько: худенькая, легкая, из-под серой шали выглядывает красный платочек, на ногах белые валенки с галошами. Но вот она заговорила с председателем, вынуждая из кармана блокнот, стала что-то горячо доказывать, энергично, в такт речи взмахивать рукой, и я понял: эта женщина все-таки может кое-что перевернуть вверх тормашками. Когда председатель, нахлобучив шапку, убежал к телефону, она пожала мне руку и сказала, словно старому знакомому, с которым недавно оборвала разговор:

— Трактор — машина дорогая, и нельзя на нем две фляги возить. Зимой по пустыкам рвем моторы, а на севе поем: ах, коленчатого вала нет, ах, подшипники полетели!

Матрена Павловна живет в Прудках — третий дом по правой стороне. Каждый день, подоив корову, задвинув в печь чугуны, торопится она в мастерские, в кузницу. В мастерских пока никого еще нет, знакомо пахнет маслом, висят на блоках тяжелые детали, поршневые кольца стопкой лежат на верстаке. Но вот вваливается первая ватага парней, и вспыхивают дополнительные огни, летят искры из-под кузнечного горна, начинается подрагивать токарный станок.

— Эй, Павловна! — кричат ребята. — Привет комиссару!

И Петушковой радостно, быстро ходит она по черному земляному полу, со всеми здоровается за руку, провожает со двора машины, идущие за удобрениями на станцию, за клевером в дальние поля. Она знает, куда сегодня поедут Коля Тарасов, Леонид Шкутов и Виктор Чернов. Знает, каких частей не хватает для ремонта, и вместе с механиком Томашевым, который из ничего ухитряется делать многое, ломает голову, звонит, требует. Потом, запахнувшись в широкую шаль, идет в Осташково, в Молуки, в Пивовку, выпускает стенную газету, готовится к собранию, к бюро, беседует с женами и матерями тех механизаторов, душу которых не открыт «одним ключом», советуется с секретарем колхозного парткома Виктором Петровичем Борисовым. И от всей этой сутолоки, гама, молодого смеха делается Матрене Павловне легко, весело...

А ведь было поначалу совсем по-иному. Тяжело было. Плакать Матрена, конечно, не плакала — не такой она человек, а отчаиваться приходилось. Сегодня, смотришь, Колька Тарасов у тещи посуду перекокал, Иван Петрович трактором забор повалил, у Маркина шоферские права отобрали. И хоть беспартийные они, но ведь Петушкова не только за двадцать коммунистов своих отвечает, а за всех, за весь этот разномастный, разноголосый коллектив, набитый дурными старыми традициями. Получка — надо выпить, новая машина — обмыть. Восьмое марта — по бутылке на брата, пасха — по две бутылки и плюс самогон. Пьют прямо на виду, у тракторного колеса, и ведь не стесняются черти, даже разыгрывают:

— Эй, Павловна, не погребуй, пригуби!..

Исподволь, постепенно, разными методами завоевывала Петушкова каждого человека. Она подолгу пропадала в полях, ночевала у комбайнов, тряслась на бочке с водой к одинокому трактору, ругалась с председателем из-за досок для крыши, у ночного костра пила чай, пахнущий бензином. Одному по-матерински пальцем погрозит, кого похвалит при людях, кого обругает, а перед кем устало опустится на траву, вздохнет, положит сухую руку на сильное мужское плечо и скажет:

— Эх, Коля... И зачем ты вчера в Проверженку ходил? Неужели пол-литра тебя куда хочешь заманит? А ведь на фронте ты, говорят, «языков» брал...

И весенний сев, и уборку колхоз закончил хорошо, вышел на одно из первых мест в Починковском районе. И, не считая мелочей, нарушений у механизаторов не было. А потом шофера Маркина и электрика Кабанова, считавшихся в свое время заводилами по части «традиций», единогласно в партию принимали.

Было это перед Новым годом, в морозный вечер, и когда Матрена Павловна, еле сдержавшая радостную слезу, вышла на улицу, то почувствовала, как у нее что-то горит и ноет внутри. Она не удивилась. Последние годы такое случается часто. Знакомый доктор сказал как-то, что это от расширения сердца и его, мол, следует побережь. А как его беречь? Лежать, чтобы оно билось медленно? Нет! Пусть уж оно бьется, как всю жизнь билось.

* *
*

Около пятидесяти лет назад вступила Матрена Павловна в партию. Тяжелое тогда было время, и женщина-коммунист, не уступающая никому в смелости, в глухом селе вызывала кое у кого недовольный ропот. Всякое случалось. И записки с могильным крестом подбрасывали, и с обрыва крутого толкали, и отречения от партии требовали. Все огни и воды Матрена прошла и честной осталась, в любом деле первой была.

Коренная крестьянка, работала она сначала в коммуне, создавала колхоз, была животноводом, а потом как активистку избрали ее руководителем Прудковского сельсовета. Старики до сих пор помнят, как она в расстегнутом дубленом полушубке, боевая и задиристая, держала речь на сельских сходах, деревянной саженью мерила кулацкую землю, собирала налоги, привозила дрова старухам, расписывала молодых и гуляла на их свадьбах, по-мужски взмахивала косой, не отставала ни от кого в лугах.

Перед самой войной взяли Матрену в райком, инструктором. К тому времени у нее уже было двое детей, Виктор и Валя, почти погодки. А муж служил на западе, в летних лагерях, где и застали его бои с фашистами.

Каждый день Матрена дежурила в райкоме, как опытный советский работник, помогала проводить мобилизацию, отправляла в тыл людей, оборудование. А через станцию шли эшелоны с ранеными, по ночам небо озарялось тревожным заревом, тянулись от Могилева хмурые, уставшие красноармейцы.

Первый покойник, которого Матрена увидела, был отец Никифора, ее мужа. В Починке, у магазина, сразило его осколком, и он умер, не приходя в сознание. В этот же день почерневший секретарь райкома вызвал Матрену к себе и велел поскорее запрягать лошадь, уезжать с детьми на восток.

Но не удалось Петушковой уехать: немцы опередили. Недели две скиталась она с дрожавшими ребятишками по проселкам и подалась к Старо-Азарову, в другой район, где ее меньше знали. Жила у чужих людей, перебиралась с места на место, смотрела, прислушивалась, вселяла веру в народ, скрывалась от карателей, и все-таки выследил ее полицай Евдоха, вскинув винтовку, повел в Починок, в комендатуру.

— А ведь я тебя знаю, Матрена,— поигрывая отшлифованной немецкой обоймой, осклабился Евдоха.— Ты у нас молотилку отбирала...

— Ну и что?

— А то, что повесят тебя. Коммунистов они не щадят. Вот разве отречься от своей партии, которой все равно уже капут, тогда, может, расстрелом заменят. Как землячок, похлопочу, ежели ты...

— Замолчи, гадина! Меня уже пробовали от партии отлучить. Вот такие, как ты, пробовали...

В камере, куда ее втолкнули прикладом, сидело и лежало восемнадцать человек — все коммунисты. А за узким окном, во дворе, на самом деле стояла оструганная высокая виселица и на одной из веревок показывался обезображенный молодой паренек.

Матрена устроилась в душном углу и, положив голову на влажную стенку, думала о детях, о муже, о родителях, которых она рано лишилась. Смерть смотрела в лицо, а умирать не хотелось. «Неужели конец?» — думала она, и снова перед глазами вставали дети, оборванные, напуганные, и Валин раздирающий голос: «Мамочка, мама» — терзал ее душу. Валя видела, как полицай Евдоха уводил ее мать, и так кричала, так кричала... А Витя в одной рубашке долго бежал по сугробам, и руки его хватали снег, тянулись вперед...

Допрашивали Матрену, пытали: «Где скрываются коммунисты, скажи адреса, фамилии, к детям отпустим». Молчала Матрена, зубы стиснула, приглядывалась к охранникам, думала о побеге. Для этого и на работу стала проситься, старалась для видимости. И вот однажды, спустя уже месяц, пошла с одной женщиной чистить колодец и, пока часовой «масло, яйца» у проходящих женщин требовал, юркнула в проулок, к развалинам...

А когда наши пришли, Матрена Павловна стала в райкоме работать, потом колхоз возглавляла, председателем сельсовета была. Трудно поднималась смоленская деревня из разрухи. Машин не хватало, людей, по-

мещений. Зашла речь на партийном собрании о свиноводстве, и Матрена Павловна, сдав бумаги, ферму приняла, много лет лучшей на Смоленщине свинаркой считалась.

С этой должности недавно ее и на персональную пенсию проводили: отдыхай, мол, сиди дома, ты заслужила отдых. Но где там с таким характером усидеть? Из партии на пенсию не уходят — вот как заявила она землякам. И стала с людьми работать, с молодежью. То дома у себя перед телевизором всю бригаду соберет, то к дояркам с новой книгой зайвится, то с ревизионной комиссией контроль проводит. Как видели ее годами с утра при народе, так все и осталось по-прежнему. А потом вот механизаторы своим партийным вожакom избрали...

* *
*

Идем с Матреной Павловной к деревне по укатанной автомобильными шинами колее. Сегодня морозно и тихо, солнце опоясано желтым ободом, дымы стоят над крышами. В сторонке, прямо по целине, роняя черные метелки, тащится трактор с клеверным возом. Тракторист высовывается из кабины и машет нам рукой, что-то объясняет знаками.

— Две ездки уже сделали,— поясняет Петушкова.— Это Вася Черненко, коммунист. Ух, зол до работы. И машина у него всегда, как чашки...

Матрена Павловна рассказывает, что с ремонтом дела обстоят хорошо, техника в основном готова. С ее уст то и дело срываются такие слова, как карбюратор, задний мост, цилиндры, и я только теперь замечаю, что на щеке у нее посажено темное пятно, а варежки выпачканы в мазуте.

— Нам бы запчастей побольше,— вздыхает она,— а ребята мои не подведут, гвардейцы! Думаем и в эту весну знамя получить. Колхоз-то у нас сильный, богатый...

Она перечисляет, что ей надо до вечера сделать, где побывать, с кем побеседовать на счет рождества и крещения, кого упредить, чтобы не было какого скандала, чтобы вместо Христа люди смогли посмотреть в клубе концерт. Потом начинает задавать мне вопросы: а что в верхах нового, не слышать ли что интересенького, как там за границей поживают. Она начитанна, многое знает и хочет узнать еще больше. Мне хочется сказать ей что-то доброе, но я не нахожу слов, да и чувствую, что любые слова для этой русской крестьянки будут малозначительны, и только отвечаю на ее улыбку улыбкой.

АНЮТА

Ожидая совещания, я сидел в полупустом зале и смотрел в окно. Была та пора осени, когда грачи уже улетели, в полях пусто, погребанбиты соленьями, поленницы дров перенесены во дворы, по деревням играют свадьбы, а в районах начинается полоса совещаний.

Вот на одно из таких совещаний, вернее, на слет передовиков и пригласил меня секретарь райкома, молодой еще парень, надевший ради такого случая свой новый темно-синий костюм, который висел у него с самой посевной, с первомайских праздников.

Я люблю эти районные сборища и всегда стараюсь попасть на них. Из колхозов съезжаются председатели, доярки, трактористы, хлеборобы, бригадиры. Они все друг друга знают, шумно здороваются, мужики пьют пиво, а женщины все подряд покупают в буфете, завязывают у узелки: гостинец из района.

Минут через десять в коридоре не продохнуть от табачного дыма, всюду громкий хохот, похлопывание по спинам, шутки, рассказы. И хотя уже дважды звенел звонок и дважды предупреждали, что президиум уже занимает места, гул не утихает.

Примерно так же все было и на этот раз. Но вот наконец собрались, притихли. И сразу запахло яблоками, хлебом, молоком и бензином. Секретарь райкома, прихлебывая из стакана, в течение часа докладывал, сколько в районе надоено и настрижено, какова яйценоскость, упомянул про знамя, которым их наградила область, перечислил по имени-отчеству многих передовиков. Потом он тут же, на сцене, вручал подарки и премии, и некоторые, самые знатные передовики должны были сказать ответное слово или, как принято называть, поделиться опытом...

Выступил бригадир из «России», недавний солдат, заочник сельхозинститута. Он рассказал, как они боролись с льняной блохой и почему их ленок пошел самым высоким номером на всей Смоленщине. Выступил председатель колхоза, бессменный член бюро райкома, местная знаменитость.

Потом дали слово доярке, которая получила золотые именные часы. Она вышла к низенькой трибуне, положила перед собой руки и, виновато улыбаясь, уставилась в зал. Она молчала так долго, что в задних рядах уже покотился смехок. Я сидел от нее в трех метрах и видел, как она, бедная, переживала, как на верхней губе ее выступили капельки пота. Бывает же вот так: схватит в горле, разбегутся мысли, и хоть плачь. А тут еще сотни глаз стегают тебя, как пулеметы открытую мишень. Мне даже жалко стало эту доярку.

— Анюта! Да ты что в самом деле? — крикнул от двери бородастый дед. — Мильен литров надоила, а сказать нечего!

— Чай, я не языком доила, а вот этими! — сказала вдруг доярка обиженно и, взмахнув руками, положила их опять на перильца трибуны. И тут все как-то разом стали смотреть на ее руки, большие крестьянские руки, выразительные, сильные, мягкие от вазелина, как бы припухшие, темные. Она уже разговорилась и не замечала, что мы на нее смотрим. Да если бы она и не говорила, а снова стояла молча, положив вот так открыто свои руки, мы бы и так знали, кто она такая, что делает и как живет. Ярче всяких слов была она сама, загоревшая, подобранная, белозубая, с глазами, из которых так и струились бескорыстие, доброта и правда...

Миллион литров... Ведь это не один эшелон, и, чтобы надоить столько молока, этого самого лучшего и самого полезного в мире продукта, надо тридцать лет, каждый день, в будни и в праздники, вставать в три часа утра, а ложиться в одиннадцать, надо безгранично любить свое дело, родную землю и родное село, надо, наконец, быть сильным человеком. За сорок лет, мы все это хорошо знаем, деревня наша пережила разные «эксперименты», и было время, когда в некоторых колхозах за труд платили мизерно мало. А она, эта доярка, не ушла, не покинула своего села, все так же вставала по утрам, рубила топором солому, содранную порой с крыши, встречала своих коров...

Сейчас наша деревня живет хорошо, так, как никогда она не жила за все годы Советской власти. А ведь было иначе. Было порой трудно. И может, поэтому на лице нашей доярки появились лишние морщины и раньше времени засеребрела голова.

Я не хочу умалять труд рабочего, ученого или инженера. При любой профессии человек выглядит красивым, если своему делу отдается самозабвенно, но в труде крестьянина, по-моему, есть что-то особенно благородное, первозданное, и порой обидно бывает, что некоторые городские люди вспоминают о деревне только тогда, когда в их магазин забудут завезти кефир. И более того. Я как-то в Костроме, переправляясь через Волгу на маленьком пароходике, наблюдал неприятную сцену. Одна женщина, размалеванная до предела, проталкиваясь сквозь толпу колхозниц, заставивших часть прохода бидонами с молоком, молодой картошкой, грибами и ягодами, сказала пренебрежительно:

— Деревенщина... Расселись тут, спекулянты несчастные!..

Бабка с коромыслом, поглядев ей вслед, укоризненно покачивала головой. Есть, еще, конечно, в деревнях нечестные люди, но эти-то, по всему было видно, простые работающие женщины. И очень хорошо, что вот эта бабка насобирала в лесу маслят и везет их в город. Ну много ли

она возьмет за них? Или за ягоды, за корзину картошки? Не отталкивать ее надо, а уступать лучшее место, благодарить...

Мне никогда не забыть сцены, которую я услышал от знакомого партийного работника. Боевой генерал, с Золотой Звездой Героя, приехал в места, где воевал когда-то комбатом. Была как раз деревенская сходка, и все высыпали на лужайку перед школой. Среди жителей генерал узнал женщину, которая приносила под пулями хлеб и картошку раненым разведчикам, оказавшимся под носом у немцев. Эта женщина, вдова, лучший в округе хлебороб, стояла у колодца. Генерал подошел к ней, назвал по имени и, опустившись на колени, как перед гвардейским знаменем, при всем народе поцеловал ее руку. Окруженный потом толпой, генерал сказал, что, целуя руку этой женщины, он преклоняется перед всеми крестьянами и крестьянками России за их великий труд...

Крестьянские руки... Однажды я заехал в новгородский совхоз «Робейка» к Алексею Никитичу Барабанову, известному картофелеводу и хлеборобу, Герою Социалистического Труда. Я нашел его на складе. Помимо него, там были агроном, тракторист и два художника из Ленинграда, приехавшие полюбоваться Волховом и здешним народом. Алексей Никитич, готовясь к севу, перебирал в сусеке крупное зерно. Запустив в семенной хлеб руки, он блаженно щурился и что-то говорил потихоньку. А один из художников, наблюдая за его руками, воскликнул:

— Голубчик, замрите, ради бога, не шевелитесь! У вас такие умные руки...

Но я отвлекся немного. Вернемся к слету передовиков и к нашей доярке, надоившей миллион литров молока.

Ей аплодировали. Ей здорово аплодировали, хотя она сказала несколько фраз...

Потом я видел ее на площади перед торговыми рядами. Она сидела на приступке. И с ней был мальчик лет десяти, белоголовый такой, ее сын. Она взяла его с собой, чтобы показать районное село. Ожидая машины, уехавшей за коленчатым валом, они закусывали домашней снедью. Мальчик достал из коробочки золотые часы и прикладывал их к уху, прислушивался.

— Мам, ходят, — говорил он радостно.

— А чего ж... Чай, они новые...

Она растянула широкую сумку и стала переключать покупки.

— Это тебе. Это Витьке. А Оленьке с Надюшей по тапочкам. Михаилу — физкультурные штаны. В школе велели. А это папке твоему на охоту ходить. Сережке так и не нашла нужного размера ботинок. Три пластинки взяла. Старинные вальсы.

- А Кольке чего?
- Кольке вон шоколадину и наган.
- Наган мне.
- Еще чего!

Я наблюдал за ними и думал, что не про таких ли вот женщин поет Людмила Зыкина песню «Рязанские мадонны»? Про таких, конечно. Только маловато сложено про них еще песен. Больше надо сложить. Перед такими надо, как тот генерал, на колени... Кормильцы... Верная опора наша...

БОЙ У ШПАНДАУ

После войны меня долго преследовала одна фронтовая картина. Только, бывало, укладываясь спать, закрою глаза, и вот оно поплыло, словно в кино: свежая земля окопного бруствера, я уперся в нее локтями и смотрю в прорезь пулеметного прицела на бегущую вражескую цепь. И тут же в такт длинных и коротких очередей начинают дрожать мои ладони, впевпившиеся в отполированные рукоятки. Я переворачиваюсь на другой бок, ложусь на спину, а оно, это проклятое видение, начинается с самого начала, да еще ярче и рельефнее...

Близкие мои друзья, у которых хватало на груди и орденов и наших за ранения, объяснили, почему это происходило: я стрелял много сам. Был командиром пулеметной роты и одновременно как бы выполнял обязанности рядового пулеметчика. Так уж получалось в бою. Мы, пулеметчики, были главной мишенью для врага и быстро выбывали из строя. Да и молодое пополнение, которое постоянно прибывало к нам, не так уж хорошо было подготовлено. На дожде мокли матерчатые ленты, случались перекосы и утыкание патрона, и лучше меня, а особенно быстрее, никто не мог устранить разные задержки в критический момент. Ведь я был пулеметчиком, как говорится, дипломированным, состоящим, окончил специальное училище — Энгельское пулеметное.

Около двух лет учили нас этой огневой профессии. Для военного времени такой срок — роскошь. Но, видимо, так надо было. Из нас ведь готовили не просто стрелков, а офицеров и командиров. Станковый пулемет — это же силища! Недаром он по-немецки машин-гевер называется. Машина, значит. Да еще какая машина-то, если ее в умелые руки дать...

Училище наше находилось в Саратовской области, в Красноармейске, в маленьком пыльном деревянном городишке. Местные жители звали его пулеметной школой. Это училище давно расформировано,

и в двухэтажном детском доме, который мы тогда занимали, сейчас по-прежнему живут ребяташки...

В январе сорок пятого нам, девятнадцатилетним курсантам, присвоили офицерские звания. Лейтенант Дрыга, наш взводный, повел строй в фотографию, и мы по очереди снимались в его кителе: карточки нужны были для удостоверения личности. Дрыга и на фронт нас сопровождал. До Саратова мы шли пешком, совершая семидесятикилометровый марш-бросок. А перед этим выстроились прямо на улице, и чуть ли не все население городка сбегалось, чтобы проводить нас. Грянул духовой оркестр, и девчонки, которые только что смеялись и махали платочками, притихли и посерьезнели. Слез никто не скрывал. И садился от волнения голос у начальника училища полковника Мартыненко, когда говорил он напутственную речь. Мы заученно и дружно ударили кирзовыми сапогами по укатанному снегу и двинулись в сторону базарчика, где доводилось нам иногда покупать на свое «денежное довольствие» по стакану тыквенных семечек, мимо школы, через окраину и пустырь, рядом с которым был старый яблоневый сад, куда мы так любили ходить.

Около месяца везли нас к Первому Белорусскому фронту. Везли через наши разбитые города и поселки, через ужасающе разрушенную Варшаву, Конин, Познань. На дощатых нарах пульмановского вагона я лежал рядом с Колей Коротких. А внизу, под нами, заняли место Сошин, Дима Фролов, Корольков, Коблов, Полянский, Мещеряков, Мотыгин, Поляков... Всех бы назвать надо, да жаль, не помню. Лучший уголок выделили мы лейтенанту Дрыге. Был он старше нас года на три, не больше, и в звании мы теперь были равны, но по-прежнему, как и в училище, робели перед ним и тянулись: учитель, первый наш военный наставник, вожак...

Простились мы со своим взводным на каком-то немецком разъезде: обнялись по-братски, собрали ему кое-какие подарки, и поехал он неохотно опять в училище. А мы, получив назначения, двинулись искать свои части. Человек шесть из нас попали в 185-ю стрелковую дивизию 47-й армии.

— Ваша дивизия сейчас Альтдам берет, — вручая мне предписание, сказал штабной капитан. — Нажимайте, может, успеете...

Но мы не успели. Взяв Альтдам, дивизия отходила на переформировку в район Клоссова. На марше мы и влились в свои части. Дима Фролов, Полянский и я попали в 257-й полк. А недели через две, получив пополнение и подучившись, мы уже сидели в траншеях на Одере. Было тепло, первые апрельские цветочки появлялись на пригорках. Но по Одере еще плыли льдинки, левая немецкая сторона его широко разлилась. До рези в глазах всматривались мы во вражеский берег, готовые в любую секунду нажать на гашетки. Но там было пустынно и тихо. За-

гадочно присмирел темный лес, мутная полая вода несла к пролетам взорванного железнодорожного моста подмытые корневища. Слева виднелось серое здание станции, а справа, за изгибом дороги, начиналась деревня с кирхой посередине. Вниз по реке, недалеко от моста, тянулись острова, и где-то на них спрятаны были пулеметные гнезда, притаились там снайперы. Стоило нам, обнаружив на островах какое-то шевеление, открыть огонь, как тут же оживала вся немецкая оборона: ухали тяжелые мины, впивались в наш крутой берег трассирующие очереди, свистели над сосняком снаряды. Мы тоже, обрадовавшись перепалке, били по вспышкам и вдоль трасс: авось какого-нибудь фрица достанет наша пуля. Потом опять все смолкало. Изнывая от нетерпения, мы ждали наступления на Берлин, ловили каждую весточку. В каком месте предстоит перемахнуть Одер — об этом днями и ночами только все и говорили. Мне хотелось переправиться здесь же, из этих обжитых окопов. Уж очень долго изучал я вражеский берег, навечно, казалось, он врезался в память...

* *
*

Несколько раз ездил после войны я в ГДР, но к Одере выбраться так и не удавалось. И вот прошлым летом друзья из еженедельника «Военпост» позвонили мне и сказали: выбирай любой маршрут, просьбу уважим. И я задумал хотя бы частично пройти путем нашей дивизии: от Одера до Эльбы. Немцы народ аккуратный, звонят еще раз и спрашивают, какое именно место мне нужно на Одере. И я не мог вспомнить. Какое-то короткое слово на последние буквы в алфавите. Вертится на уме, а как точно — не знаю...

Заглянул ко мне в этот день Петр Тодоровский, известный сейчас кинорежиссер, а тогда на Одере просто Петя из соседней роты, мой старый дружок.

— Слушай, Петро, как то место на Одере называется, где мы с тобой в обороне стояли?

— Так это... ну короткое что-то, — закатил он свои выразительные глаза. — На букву «ц», кажется, или на «ч»...

Можно было, конечно, в военном архиве карты найти, но время уже поджимало, пора было ехать.

В городе Шведте, у бургомистра, куда меня привезли немецкие друзья, тоже не смогли нам помочь. Называли станции, мосты и местечки, но слышу — не то. Ведь почти сорок лет прошло. Что-то сломали, что-то новое построили. И мы стали искать сами. В одном месте, у какого-то

фольварка, попался нам старик на инвалидной коляске. Я обратился к нему, стал называть приметы, и он, послушав, сказал:

— Это Цигэрик, отсюда восемнадцать километров.— На этом берегу Цигэрик-Лезе, а на том просто Цигэрик...

Ну, конечно, Цигэрик! Как же это такое броское слово в голову не пришло?

Мигом проскочили мы эти восемнадцать километров. Я попросил остановить машину и пошел пешком. Все во мне сжималось от волнения. Уже вечерело, и закатное солнышко ярко освещало «наш» крутой правый берег. Так вот он каков отсюда! Белеет одинокая станция, сосновый лес укрывает не только вершины, но и скаты берега. Из воды торчат прозеленевшие опоры моста. Того самого, который был почти напротив наших траншей. Тут теперь новый мост. Он несколько другой конфигурации. Я шагнул за луговину, к зарослям, к высоким осокорям и дубам. И заметил на этих деревьях скобы. Боже мой! Вот куда забирались фашистские снайперы и артиллерийские наблюдатели. Сняв пиджак, я легко поднялся по этим скобам на дуб и увидел дорогу, ведущую к деревне. По военной привычке пулеметчика прикинул расстояние: метров четыреста, не больше. Для снайпера это как раз. Значит, с островов били и отсюда, с деревьев. Немало от этих пуль наших бойцов полегло. Погибла санитарка Шура, ранило фельдшера Белугина. Организовывали они в здании станции баню, чтобы помочь нас, и обнаружили себя, попали под снайперский огонь. Старшина нашей роты Перцев, кривоногий, словно кавалерист, поленился пригнуться в траншее пониже и погубил термос, двумя пулями прошило его, без чая остались мы в то утро...

Я ходил вдоль берега, поглядывая за реку, и воспоминания захватывали меня. Пересекали мы Одер чуть выше. За ночь была возведена понтонная переправа, и на рассвете двинулись через нее колонны.

— Бегом! Бегом! — покрикивал какой-то полковник, стоящий у самого берега.

— Музыкин, командир нашей дивизии! — услышал я разговор.

По переправе била вражеская артиллерия, в небе ревели самолеты. Один снаряд угодил в понтон, и мы стали прыгать в воду. Хорошо еще, что до берега оставалось всего с десяток метров. Не чувствуя холода, возбужденные, ринулись бойцы вперед.

— С дороги не сворачивать, кругом мины! — предупреждали саперы.

В этот день, буквально на моих глазах, подорвался тринадцатилетний Витька, солдатик, состоящий при батальонной кухне. Ему оторвало ноги. Он полз и пронзительно, по-детски кричал...

А вечером мы уже вступили в бой за город Врицен. Фашисты око-

пались на высотах, продвигаться было трудно. Вот здесь и показали себя наши пулеметы. Стремительными бросками перебежали мы по низинам, занимали выгодную позицию и били во фланги, часто применяя кинжальный огонь. Кинжальный — это значит с близкого расстояния, почти в упор, когда траектория полета пули прямая, как кинжал...

Потом пошли мелкие городки, деревни и фольварки. И все это надо было отбивать, брать атаками, штурмом. Мы почти не спали. Так, прикорнешь под повозкой с часок — и снова вперед. Когда подошли к Бернау, у меня в роте осталась половина состава. И треть лошадей погибла. Тяжелые пулеметы тащили на себе...

Наша дивизия обходила Берлин с северо-запада. Атаковав Бернау, восточное предместье фашистской столицы, она двинулась на Фальканзее, Науен. За Науен я получил орден Красной Звезды. Такую же награду дали и командиру расчета нашей роты сержанту Нефедову...

Отличился Нефедов и в Шпандау, на западной окраине Берлина. Потасовка здесь была крепкая. Еще на подходе к Шпандау мы взяли деревню у развилки дорог. Комбат объявил небольшой отдых. Солдаты стали закусывать, приводить себя в порядок. Кое-кто разулся и повесил портянки. И вдруг истошный испуганный крик:

— Немцы! Немцы! Вон они!

Слева, в ближней роще, мелькали фигуры. Перебегая от дерева к дереву, они накапливались на опушке. Их было много. Обстановка ясная: фашисты прорываются из окружения, хотят пересечь развилку дорог. Через десять минут они сомнут нас...

— К пулеметам! — подал я команду. — Нефедов, на левый фланг!

Сержант и сам уже действовал. Он первым открыл огонь. Заработали и другие расчеты. Но фашисты нажимали. Только плотность и непрерывность огня могли остановить их. И тут помог Перцев, наш заботливый старшина. Он последнее время всегда возил в повозке пару немецких пулеметов, говоря, что в хозяйстве все пригодится. Я по очереди, чтобы не так быстро грелись стволы, стал бить из этих пулеметов. Нефедов, воспользовавшись дополнительным огнем, сменил позицию. Его свинцовые очереди хлестали вдоль всей рощи...

Прорваться фашистам не удалось. А в Шпандау пытался выйти из кольца целый полк с танками. Бой гремел всю ночь. Все улицы были завалены фашистскими трупам...

А на рассвете первого мая мы входили в Бранденбург. Город горел. Здесь погиб мой друг Дима Фролов.

На окраине, недалеко от аэродрома, мы увидели страшную картину. Возле домов валялись мертвые люди. Мирные немцы, целые семьи. Их расстреляли эсэсовцы. Расстреляли за то, что они вывесили белые флаги...

Немного уже оставалось до Эльбы. Но бои не утихали. Пятого и шестого мая у нас были самые большие потери. И даже в День Победы погибали наши бойцы. В районе города Эрихов вражеской пулей был сражен полковник Кцюев, Герой Советского Союза, командир полка...

* *
*

Вернувшись в Москву, я позвонил Музыкину, нашему командиру дивизии. Не так давно мне стало известно, что он живет в столице, генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза. Я узнал, что зовут его Михаил Максимович. Но, представляясь, по-штатски назвать его не мог: привычка, дисциплина. Он дал согласие встретиться у меня на работе, и я хотел послать за ним машину: пожилой человек все-таки, около восьмидесяти...

— Не разрешаю,— сказал он сухо.— Сам доберусь.

И вскоре он появился. Высокий, подтянутый, генеральская форма молодила его. Я доложил, что проехал путем нашей дивизии, был на Одере и на Эльбе...

— Да, Одер,— вздохнул генерал,— не забыть его...

И рассказал мне, как там, у этой реки, спас его от смерти орден. Орден боевого Красного Знамени, в который ударил осколок. Маленький, с горошину, но смял орден, вдавил его в грудь — как раз напротив сердца...

Мы вспомнили боевых своих товарищей. Живых и погибших, помянули их...

А совсем недавно, в конце марта, встретился я с Павлом Нефедовым, бывшим моим сержантом. Приехал в Белгород на дни литературы и смотрю, на вокзале стоит эдакий крепыш с седой головой и озорными голубыми глазами.

— Нефедов? — удивился я.

— Так точно! — молодцевато гаркнул он.

— Откуда о приезде узнал, разбойник?

— Так ведь это самое... военная хватка!..

— Ну, Нефедов! И тут ты кинжальным огнем режешь!

— Только кинжальным! Я этот огонь сейчас в сельском хозяйстве применяю. Верная штука! Только пулемет у меня теперь другой, мирный. Все фронтовики должны так действовать...

Мы пошли вдоль перрона. О многом нам предстояло поговорить.

Встреча боевого друга, товарища по оружию — нет большей радости. Память о военном братстве, о выручке и верности, нельзя такое забывать. Свято это и вечно.

СТЕКЛЯННАЯ ПТИЧКА ДЛЯ ОЛИ

К утру над Прагой повис густой липкий туман, полеты отменили, и в аэропорту скопилось так много народу, что негде было присесть. Я пристроился возле стены, защищая от толчков свою дорожную сумку. В этой сумке, сверху, завернутая в полотенце, лежала стеклянная птичка. Самой птичке, если бы кто и задел ее ногой, ничего бы, возможно, и не было, но вот острый тонкий клювик и длинный хвост — за это я опасался. Очень бы огорчилась маленькая девочка Оля, моя внучка, если бы я не сохранил такой подарок. Она у нас собирает фигурки разных зверюшек и птиц и уже знала, что в Праге для нее куплена новая замечательная вещица...

Я и в самолете, когда мы наконец взлетели, то и дело поглядывал на сумку, хотя ей уже, кажется, ничто не угрожало. И только улыбчивая стюардесса, притащившая кипу газет и журналов, отвлекла мое внимание. Газеты были и свежие и недельной давности, но все они буквально кричали такими устрашающими словами, как «ядерная война», «атомная бомба», «ракеты», «подводная лодка». Мелькали сообщения об американских «першингах» и крылатых ракетах, которые размещались в Англии, ФРГ и Италии. В Западной Европе разных ракет и без того много, а это уже везли новые, самые точные и быстрые, которые за считанные минуты долетят, скажем, до Киева, или до другого нашего города, повосточнее. В одном зарубежном журнальчике изображалась какая-то американская ракета, может, и этой последней марки. Огромная, хищно нацеленная, готовая сорваться в любую секунду, она, и простым толком набитая, разнесет полквартала, а тут ведь атомный или нейтронный заряд, который испепеляет километровые площади. Видел я как-то ядерный взрыв в документальном фильме и сейчас, вспомнив те жуткие кадры, поежился даже и невольно прикрыл рукой сумку, где лежала Олина стеклянная птичка. Боже мой, ничего ведь и ничем не укроешь, начнись эта атомная катастрофа. Висит реальная угроза над головами людей... Висит и растет она ежедневно...

— Ну что я вам такого сделала? — проникновенно говорит наша Оля, когда ее несправедливо обидают. И губы ее дрожат, слезинки скатываются по длинным ресницам. Этот Олин вопрос я хотел бы адресовать тем, кто нацеливает на нас смертоносные ракеты, кто планирует новую

войну. Заправилам США и их союзникам по НАТО в первую очередь этот вопрос. Это они собираются обрушить первый ядерный удар и разом покончить с социализмом, которого они боятся и люто ненавидят. Мы, мол, их внезапно прихлопнем, а сами останемся целы. Все, мол, у нас рассчитано, учтено и взвешено. Нам уже приходилось подобное и видеть, и слышать, но одного «фюрера» пережили. Эти и ушедшие и современные «фюреры» всегда действуют, как бандиты: из-за угла, в темноте, неожиданно и безжалостно. Но бандитская тактика и тогда не помогла и теперь не поможет. Ударите и тут же сдачи получите. Такой сдачи, что на ногах не устоите...

— Но лучше бы, понимаешь ли, без драки жить, мирно, — сказал мне Павел Григорьевич Батырев, бывший фронтовик из костромского поселка Сусанино.

Был я у него летом, в выходные дни. Павла Григорьевича снимали для телевизионного клуба путешественников, и мы с ним, сидя на лавочке у палисадника, долго беседовали. В мае сорок пятого я мог бы его встретить в Берлине. Он брал его с одной стороны, а я — с другой. Батырев был танкистом, а я, девятнадцатилетний лейтенант, командовал пулеметной ротой. Но танковую часть, где служил сержант Батырев, бросили на освобождение Чехословакии, Праги, и его грозная машина первой влетела в этот прекрасный уютный город, первой пришла на помощь друзьям. Окруженный деревьями и клумбами цветов, стоит теперь тот танк на высоком постаменте, а Павел Григорьевич Батырев — почетный гражданин города Праги. И когда он бывает в чехословацкой столице, его встречают как героя-освободителя, как родного человека...

— Знаешь, — говорил он мне по-дружески, — когда с фронта домой вернулся, то лет пять у меня в ушах гул стоял. Ночью просыпался... Казалось, что за окном трактор идет. Когда болванка по броне заденет, перепонки лопаются... Война, брат, ужасная штука, и кто на ней, проклятущей, побывал, до гробовой доски не забудет. А я ведь, как говорится, от звонка и до звонка. Да, пролетели годы, седой вот стал. Помимо шума в ушах, еще детские лица мне снятся. Сколько перевидел я голодных и оборванных ребятишек! Вспомнишь, сердце клещами сжимает... В Прагу ежели дорога приведет, поклонись от меня...

И я выполнил его просьбу. Сходил к советскому танку, который стал памятником. Эта широкая улица — любимое место пражан. Постою, подумаю, мысленно поговорю с Батыревым, крестьянином, солдатом, хорошим работником и семьянином...

А на второй день поехали мы с чешским товарищем в знаменитую деревню Лидице. Летом сорок второго немецкие оккупанты, мстя за убитого Гейдриха, фашистского бонзу, уничтожили Лидице и ее жите-

лей. Ни в чем эта деревня не провинилась, разве что ненавистью к оккупантам. Она попала в поле зрения громил как заложница. Фашисты умели это делать. У них бывало это просто: приказ, изловили человека, и прав не прав — все равно к стенке...

Сейчас в Лидице музей. Селение отстроено заново. Встретила нас Ружена Красова, экскурсовод. Она родом из Лидице, видела и ясно помнит тот кошмарный день расправы над мирными людьми...

— Мужчин всех тут же расстреляли, — волнуясь, рассказывала Ружена. — А нас с детьми пока загнали в школу. Потом детей у нас отобрали, мою дочку Венушку сожгли в концлагере. Ей было восемь лет. И Божену сожгли, дочь моего брата. Вот посмотрите, какими они были, эти маленькие девочки...

Ружена ведет нас в другую комнату, где по всем стенам развешаны фотографии погибших жителей. В центре стенда крупный групповой снимок детей и воспитательницы.

— Вот она, моя Венушка, — показывает Ружена. — А это Боженка. Эх, знали бы они, что их, бедных, поджидало. Никаких грехов они не успели сделать...

Венушка сидит на скамейке. Лицо улыбочное, на груди косы, бленские носочки на ногах. Просто в уме не укладывается, что вот такую милую девочку можно сжечь в печи. Неужели на такое изуверство кто-то способен? Это у нормальных людей не укладывается в голове, а фашисты могли и не такое сотворить. И сотворяли. На другой стенке висели фотографии этих палачей. И сам Гейдрих среди них. Брезгливое узкое лицо, пронзительный недоверчивый взгляд. Такие не только отдавали приказы на казни, но и сами убивали с наслаждением. Приходилось мне в ФРГ видеть подобных выроdkов из бывших штурмбанфюреров. Они, конечно, постарели, пооблезли, перекрасились, но фашистские дрожжи еще бродят в них. Один недобитый вояка из города Ботроппа так нам и заявил:

— А что? В войне что-то и хорошее есть. Мы у вас в России всегда сытыми были, у населения забирали все, что нам надо...

Расстроило меня пребывание в Лидице. Так и стоял перед глазами облик Венушки и Боженки. И тут же наша Оля появлялась, и звучал ее справедливый вопрос:

— Ну что я вам такого сделала?

И еще думалось, что таких Лидиц у нас в одной Белоруссии десятки, а то и сотни. И везде жили дети, которые, по словам Ружены Красовой, никаких грехов не успели сделать...

Обратно мы поехали другой дорогой. И остановились на перекрестке, чтобы перекусить и выпить по кружечке неповторимого чешского пива. И о чем бы мы ни заводили речь, разговор сам собой так и сводил-

ся к войне, к воспоминаниям: так тревожно в мире еще никогда не было. Нам настолько противна война, и так мы ее не хотим, что даже мысль об этом отгоняем от себя. Это, мол, где-то и когда-то, но не у нас. Нет, если уж она будет, то будет везде. Не спрячешься от нее ни в бетонном бункере, ни в лесу, ни в горах. Чем-то тебя обязательно заденет. Или взрывной волной, или радиацией, огнем сожжет, отравит. А если и останешься жить, то ненадолго. А скорей всего обуглится вся планета, все живое исчезнет. Ученые уже доказали это. Вот почему и взбудоражились миллионы людей в разных странах. Они не хотят умирать. Они мира хотят, счастья, работы, детей и внуков, простых житейских радостей. Люди выходят на улицы, на широкие площади и решительно заявляют:

— Нет войне! Позор поджигателям! Убрать ракеты!

И взоры многих народов обращены к Советскому Союзу. Отсюда исходят импульсы мира. К нам обращаются с надеждой. Империализм всегда, рано или поздно, развязывал войны. Об этом говорил Ленин. Империализм и сейчас толкает земной шар в пропасть. Надо обуздать эти злые силы. Они наглеют, протягивают свою загребущую лапу то к одному, то к другому региону, запугивают, обманывают...

...Монотонно гудит самолет. Я перелистываю страницу за страницей, вчитываюсь в строчки коротких сообщений, рассматриваю рисунки и снимки. Близкий Восток, Гренада... Там и тут постреливают, там и тут развеивается американский флаг. Огромная мощная держава вторглась на крохотный островок, который и на карте-то еле сыщешь. Свежие фотографии с Гренады. Черный дым, столбы взрывов. А это чей же солдат-то? Рукава закатаны, на каске маскировочная сетка, автомат держит небрежно, в одной руке, а ногой пинает мальчишку. Что-то уж очень знакомое. Где этого бравого парня я видел? Ах, да, в Лидице, на стенде, рядом с Гейдрихом. Очень похож, ну прямо вылитый...

Неспокойно в мире, тревожно... Но ничего, посмотрим, сложа руки не будем сидеть. Для нас, советских людей, борьба за мир — это в первую очередь отличная работа. И для обороны тоже. Одумаются претенденты на мировое господство, согласятся на конкретные переговоры, и мы пересмотрим свои решения. А если и дальше удила закусят, то... Ясно, что будет. Но лучше мирно обо всем договориться. Мы надеемся на это. Мы верим в разум людей, в жизнь верим...

В Москву самолет прилетел вовремя. Осторожно шагал я через все багажные проходы, оберегая сумку с птичкой. Оля уже ждала меня. Она только что сделала уроки, и чернильное пятнышко темнело на ее указательном пальце. Увидев птичку, так вся и засияла: умеют же чехи вдохнуть в стекло жизнь и красоту редкую. Оля положила птичку на вытянутые ладони и долго ходила с ней по комнате. На ярком свету

птица переливалась малиновыми красками. Будто бы солнышко было рядом с сердцем. Теплое ласковое солнышко, вызывающее улыбку. И Оля улыбалась. Милой детской улыбкой. И глядя на нее, и на птичку, я думал, что вот так бы всегда, побольше улыбок и радости, побольше света и жизни. Для всех детей. Для всего нашего народа.

СИБЕЛИУС

Сибелиус для финнов, как для нас Пушкин. Великие умы интересны людям не только своим творчеством, но и самой жизнью, бытом, местами, где они жили или просто бывали.

Ян Сибелиус последние свои полвека прожил в Айноле. Айнола — это не город, и не село, и даже не хутор. Айнола по-русски звучит как жилище или дом Айно: так звали жену Сибелиуса.

Еще в прошлый свой приезд в Финляндию мне очень хотелось побывать в Айноле. Но не удалось. А на этот раз посещение дома Сибелиуса предусматривалось программой, и мы с нетерпением ждали этого дня...

От Хельсинки до Айнолы около сорока километров. Быстро летит по автостраде машина. Слева и справа березовые перелески, желтые и зеленые заплатки полей. Желтое — это поспевшие хлеба, рядом луговины, где пасется скот. Конец августа, а тепло, как в разгар лета.

Останавливаемся в отведенном месте и идем по аллее в гору. Стволы вековых сосен, ровные и могучие, тянутся к небу. Пахнет смолой и грибами. И тишина такая, что звенит в ушах...

Эта тишина, красота и еще отдаленность и подкупили Сибелиуса, когда он совершал как-то здесь лыжную прогулку с приятелем.

— Вот где надо жить! — воскликнул композитор. — Городская сутолока мешает мне...

Было тогда ему тридцать восемь лет. Его уже знали многие европейские страны. Симфонии Сибелиуса звучали в самых лучших залах, ими восхищались. Он первый проложил широкий путь финскому музыкальному искусству. Сибелиус любил «Калевалу», черпал мелодии из глубин народных и с полным правом мог бы сказать о себе словами старинной саги:

«Я открыл певцам дорогу,
Я в лесу раздвинул ветки,
Прорубил тропинку в чаще,
Выход к будущему дал я...»

Пока шла стройка Айнолы, Сибелиусы жили в крестьянском доме в ближней деревне. Было у них три дочери. Семья перебралась на гору, как только готов был первый этаж: Сибелиусу не терпелось, в этом золотистом хвойном лесу ему хорошо работалось. В новой обстановке у него быстро пошла третья симфония, намечались и другие произведения. Он редко садился за рояль. Музыка рождалась и отшлифовывалась в его талантливой голове. Он ходил с палкой по солнечным полянам, по опушкам рощи, по берегу озера, которое лежало внизу под обрывом, и тихие звуки, яростные возвышенные мелодии, напевные руны, завершающие аккорды вырывались из его души. Потом он, не подходя к инструменту, записывал свою музыку на бумагу. Сибелиус работал как писатель. Такой у него был стиль. На рояле отлично играли Айно, подрастающие дочери. А он любил их слушать...

В молодости Сибелиус мечтал стать скрипачом. И не простым скрипачом, а виртуозом. И в этом деле достиг многого. Но пошел другим путем. Его наполненность народными мелодиями, духом своей родины вырывались наружу, искали выхода в других формах. Национальный эпос проходит во всех его симфониях. Он писал камерную и фортепианную музыку, вокальные произведения, хоровые песни.

Всю свою жизнь Сибелиус интересовался русским искусством, обогащал себя им. Чайковский, Римский-Корсаков, Глазунов, Репин, Горький, к этим художникам он питал личные симпатии. Следил за музыкальной жизнью нашей страны Сибелиус и позже, а после войны, начиная с сорок пятого года, он часто принимал у себя советских гостей, композиторов и артистов, переписывался с ними...

В Айноле сейчас все так же, как и было при хозяевах. Каждая вещь на своем месте. Когда ходишь по широким комнатам, где все деревянное и сухое, удобное, охватывает такое чувство, что вот-вот на пороге появится сам Сибелиус или его Айно. Дом двухэтажный, наверху три комнаты, а внизу четыре, не считая большой кухни и комнаты для прислуги. Зал, столовая, библиотека, рабочий кабинет и спальная. В зале на видном месте стоит рояль, на стене картина, изображающая смерть ребенка. Сибелиусы пережили горе, у них умерла малолетняя дочь...

В библиотеке, слева от двери кресло, маленький столик, а на нем радиоприемник. Это любимое место Сибелиуса. Он тут подолгу сидел, курил сигару и слушал музыку. Курильщиком он был заядлым, хотя врачи и выговаривали ему за это. Когда Сибелиусу исполнилось девяносто лет, зашел к нему знакомый доктор, чтобы прописать лекарства, и сказал, глядя на огромную сигару, которую композитор доставал из корбки:

— А курить вам, батенька, нельзя совершенно!

— Двадцать врачей мне это говорили, — пряча улыбку, отвечал Сибелиус. — Их, пугальщиков, давно уже нет в живых, а я вот все курю по-маленьку да курю...

Кухня в доме сделана по-крестьянски. Много места занимает печь, похожая на нашу русскую. В ней пекли пироги и хлеб. Айно была замечательной хозяйкой. Она все умела делать. Очистила участок от камней и ольховника, разбила сад и огород. Яблоки, выращенные Айно, получили два высших приза на сельскохозяйственной выставке. Она сама составила чертежи бани, теплиц...

Я пристально всматривался в фотографию этой трудолюбивой женщины из интеллигентной известной семьи, стараясь понять ее характер. Элегантна, пышные волосы собраны в пучок, руки тонкие, музыкальные. Она очень любила своего Яна. А он, может, еще больше ее любил. Недаром и виллу свою лесную Айнолой назвал. Эта взаимная любовь, труд, полная гармония и дали возможность прожить им так долго. Сибелиус умер в сентябре 1957 года, когда ему исполнился девяносто один год. Айно пережила его на двенадцать лет, не дожив трех лет до столетия. Они похоронены рядом, под одной плитой. Плита, кажется, бронзовая. И на ней надпись крупно: Ян Сибелиус. А ниже, в правом углу, выведено мелкими буквами одно слово: Айно. Говорят, что это было ее желание так оформить плиту. Недалеко от могилы росла дикая слива. Она вскоре зачахла, не перенесла утраты хозяина и хозяйки Айнолы, которые часто любовались розовыми лепестками ее цветения.

Считается, что за последние три десятилетия своей жизни Сибелиус не создал ничего крупного. Он вообще замолк. «Загадочное безмолвие» — так о нем говорили в Финляндии. Такое «состояние» бывает с крупными художниками. Но, видимо, никакого загадочного безмолвия не было, Сибелиус сочинял постоянно, до последнего вздоха. Он сам признается в своих дневниках: «Быть может, больше всего труда я положил на те работы, которые никогда не были завершены». Это признание великого композитора говорит о строгости к себе, об ответственности перед подлинным народным искусством. Видимо, он не хотел снижать свой уровень. Лучше промолчать, чем сказать плохо. Не у всех хватает мужества на это. У Сибелиуса хватило мужества. Его рука не стала записывать слабых нот. Из его души не долетели до нас пустые звуки. Он осуждал всякие модернистские выверты в искусстве. За два года до смерти при беседе с Арамом Хачатуряном великий Сибелиус сказал с присущим ему юмором: «Кто пишет музыку головой, кто — ногами, а кто — сердцем...»

Мы долго гуляли по Айноле, по ее тенистым аллеям и узким тропинкам, вьющимся через густые папоротники, через брусничные поля-

ны и сосняки. Все нас здесь восхищало. Хотелось только молчать и думать. Громкие звуки тут были неуместны...

А вернувшись в Москву, я поставил на диск пластинку Сибелиуса, которую мне подарили в Хельсинки. «Айнола» — так называется пластинка. Я услышал живой голос композитора. Он спокоен и глуховат. Сибелиус что-то объяснял. А потом полилась его чистая светлая музыка. Раздумчивая и захватывающая. И я вновь увидел Айнолу, озера и реки Финляндии, скромную ее природу, работающий ее народ. Увидел и подумал о том, что какое это чудо — талантливая музыка, зовущая к добру, миру и счастью. Она не знает границ. Она сближает народы, музыку не надо переводить на другой язык, как роман писателя. Она понятна без перевода. Она заполняет душу мгновенно. Особенно такая музыка, какую создал Ян Сибелиус, бессмертный композитор.

СОДЕРЖАНИЕ

Пицунда, дорогая земля	3
Весна в Житневе	9
Тургайский хлеб	15
Огородники	21
Ожила деревня	28
Носить поэзию в душе...	33
Демьяново болото	36
Комиссарша	41
Анюта	46
Бой у Шпандау	49
Стеклянная птичка для Оли	55
Сибелиус	59

Юрий Тарасович ГРИБОВ

ВЕСНА В ЖИТНЕВЕ

Очерки

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Технический редактор Т. Е. А в д е е в а

Сдано в набор 14.05.87. Подписано к печати 07.07.87. А 05098. Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 3,98. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 80 000 экз. Изд. № 2017. Заказ № 665. Цена 10 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **РЕПРОДУКЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**ДИПЛОМНИКАМ, ИНЖЕНЕРАМ,
НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ!**

Фотокопии чертежей, схем,
диаграмм, документов, рукописного
и печатного текста можно заказать
в фотолабораториях службы быта.

Росбытреклама